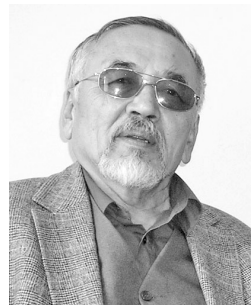


Калихан
Искаков



ЛЕГЕНДА О ЗЕМЛЕ БЕЛОВОДЬЕ

Роман

*Авторизированный перевод с казахского
Адольфа Арцишевского*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Вся суть в одном-единственном завете,
то, что скажу, до времени тая,
я это знаю лучше всех на свете –
живых и мертвых – знаю только я.
Сказать то слово никому другому
я никогда бы ни за что не мог
передоверить. Даже Льву Толстому –
нельзя. Не скажет – пусть себе он бог.
А я лишь смертный. За своё в ответе,
я об одном при жизни хлопочу:
о том, что знаю лучше всех на свете,
сказать хочу. И так, как я хочу.
А. Твардовский

1

Едва наступал март, давала о себе знать алтайская теплынь. Сползала набе-
крень снежная шапка пня. Солнечная сторона наезженной зимней дороги была
как бы обглодана весенним лучом, еще робким и словно бы примеривающимся
к ноздреватому тучному снегу, который бугрился, как сало на жирном ребре
хорошо отъевшейся овцы. А на открытой равнине мартовскому солнцу вовсе не
было преград, с ним заодно здесь работал и ветер, и уже проглядывала плешаками
грязь на белом зимнем покрывале, оно ветшало на глазах день ото дня. Разве что
тыльная сторона пика Ушканыр не поддавалась солнцу, угрюмо сияя в синеве
стойкими заоблачными льдами.



Река Кулмес тихонько зимовала подо льдом, никак не давая о себе знать. А тут и на ней лед пошел трещинами. И деревянные дома – они все на одно лицо, а в снегу и вовсе меж ними не было различия. Дома тянулись вдоль улочки по крутому берегу реки, их крыши в одну ночь тоже лишились снежного убранства, отчего избы как бы враз одряхлели. Правда, что в том единообразии строений выделялись два здания, словно пара беломордых ишаков в отаре. Были те здания из кирпича и двухэтажные, что подчеркивало их аристократизм и особое предназначение в районе. На фоне бревенчатых домов штукатурка этих сооружений выглядела неестественной, бьющей в глаза, как толстый слой белил на потасканном лице нещадно молодящихся красоток.

Приземистая хатка аэропорта стояла на отшибе, за два-три километра от поселка. Стояла она посреди крохотной, как стелька, равнины и казалась осоловевшей от полного бездействия и хронической тишины. Пустынный проселок, ведущий к аэропорту, лишь усиливал это впечатление, вселяя в душу случайного пассажира тоску и безнадежность, лишая веры в то, что по этой дороге когда-нибудь кого-то будут провожать, а тем более – встречать. Раскисшая взлетная полоса рождала такое уныние, что сосало под ложечкой от дурноты, жизнь казалась беспросветной, ожидание бесконечным, как и нелетная погода. И весь белый свет был не мил.

Десяток пассажиров, волей случая оказавшихся в хатенке аэропорта, выказывали мало симпатии друг к другу. Да и какое тут могло быть дружелюбие! Только что они не на жизнь, а на смерть бились у билетной кассы, хватая стоящего рядом чуть ли не за горло, будто и в самом деле вопрос решался о жизни и смерти. И теперь людям было просто неловко смотреть друг другу в глаза. Они вынужденно жались у стен избушки, олицетворявшей собою воздушную гавань, смотрели поверх голов – благо можно было нахлобучить меховые шапки чуть не на самые глаза. Тот надвинул на лоб барсучий малахай, этот сурочью ушанку, у кого-то одежда на голове поскромней, из крота, а кто-то упрятал угрюмый взгляд в беличий мех.

Бекету не удалось натянуть свою вязаную шапочку до бровей, и он старался не смотреть по сторонам. Он упорно разглядывал полосатую штанину на столбе, она то надувалась ветром, то бессильно провисала вниз, и машинально поплевывал в сторону взлетной полосы, как бы желая переплюнуть самого себя.

Пробирал озноб. Уютней было б дожидаться самолета в помещении, но начальник аэропорта вдруг ощутил потребность навести чистоту и, матерясь почему зря, принялся охаживать шваброй замызганный пол, согнав пассажиров с лавок в продранном дерматине, а потом и вовсе вытеснив их из душевной теплоты комнатенки, именуемой залом ожидания, но больше похожей на хлев. Теперь пассажиры ежились на улице, а начальник аэропорта возвышался на крыльце, оглядывая вверенные ему владения и как бы намереваясь пройти шваброй не только по залу ожидания, но и по взлетной полосе. Был он деятелен и грозен, пассажиры опасливо поглядывали на него, готовые отступить от крыльца еще дальше и вообще исполнить любое желание начальства.

– Эй! – вперил он свой взгляд в Бекета. – Чем дремать без пользы, сделай доброе дело. Шугани телят со взлетной полосы. Путаются под ногами, сволочи!..

Он сунул Бекету швабру.

– Да по ребрам их, по заправку! Чтоб неповадно было...

– Ну что, придет? – влезла с вопросом барсучья шапка.

– Куда он денется? Приде-ет!.. – снисходительно пообещал начальник, и все с надеждой глянули в небесную высь, куда и так смотрели поминутно, считай уж целую неделю в ожидании двукрылого «кукурузника», его в здешних краях любовно окрестили «пташкой». А вот поди ж ты, не мычит, не телится эта самая «пташка», хоть ждут ее не дождутся, как ждали встарь, бывало, родителей с Ирбитской ярмарки. И в нетерпении, как бы боясь опоздать на самолет, который с минуты на минуту появится из-за горизонта, пассажир, тот самый, в барсучьей шапке, подхватил вещмешок и закинул его за плечо, являя готовность к полету. Бекет, направляясь со шваброй к взлетной полосе, успел отметить про себя и этот нетерпеливый жест барсучьей шапки, и то, что обладатель вещмешка, судя по ухваткам, сезонный рабочий, прощельга и рвач, добрый человек в такую-то распутицу не будет мотаться где ни попадя. Да и остальные, видать, из этой же породы, не к теще спешат на блины. Дикарей, шабашников Бекет узнавал безошибочно, с первого взгляда, тут не надо было смотреть ни в паспорт, ни в трудовую книжку, излучали эти люди некий бродяжий, беспокойный дух.

Взлетная полоса протянулась на километр и выглядела действительно полосой посреди небольшого заснеженного поля. Едва она была очищена бульдозером от снега, как стала местом выгула молодняка, благо сама «пташка» приземлялась здесь редко. Отощавший за зиму скот с жадностью устремлялся к озябшей скудной травке, зимовавшей под сугробами, а тут вдруг чудесным образом явившейся из-под них на этой полураскисшей прорехе земли под боком у поселка. Молодняк клещами вцепился в ту самую травку, оказывая Бекету пассивное сопротивление, тут впору заново бульдозер вызывай, чтоб сдвинуть с места разномастную голодную орду парнокопытных.

Нешадно действуя пинками и палкой, он едва-едва успел загнать в сугроб самых строптивых, как тут же за его спиной на землю плюхнулась мятая-перемятая «пташка» и, проурчав, на миг затихла у избушки аэропорта. Но именно на миг. К тому времени, когда Бекет добежал до места посадки, коварная «пташка» уже с рокотом отрывалась от земли, прощально махая крылом незадачливому пассажиру.

– А я?.. – только-то и выдохнул ошеломленный Бекет.

– Что – ты! Где тебя черти носят? – рявкнул на него начальник аэропорта. – А я тут голову ломаю: почему их девять, пассажиров? Я же продал десять мест!..

– Я десятый!..

– Вижу, не ослеп. Где тебя носит?

– Я телят гонял!..

– О! Он гонял телят. Какое тебе до них дело?.. А зачем сломал швабру?

Сломанная швабра возмутила начальника куда больше, чем то, что Бекет опоздал на посадку.

– Заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет, – и начальник, шмыгнув своим здоровенным носищем, запустил пятерню в густые сивые лохмы и с наслаждением почесался.

Тьфу, скотина безрогая!.. А башка у него как у лошади, с неприязнью подумал Бекет и с трудом удержал себя, чтобы не запустить обломок швабры в эту лошадиную голову. Уродится же такое чудище!.. И хотя гнев душил Бекета, он невольно рассматривал это нелепое творение человеческой природы. Топором его, что ли, выделывали? Это ж надо, не нос – носище, повезло человеку – да и только! И глаза будто фары. Ну и, естественно, подбородок, словно казан,

разве что небритый. А волосищи-то! Куда ж их столько одному человеку? Над глазами не брови – чертополох. И усы хоть бы подстриг аккуратнее, а то ведь торчат будто проволока. Но там, где на просторном лице проглядывала кожа, была она гладкой, холеной, без морщин, будто плоть человека заявляла о возрасте: мол, четвертый десяток у нас пока что не разменян. И хоть сам Бекет был не из низкорослых, но рядом с этим начальником гляделся подростком.

– Проворонил, – как бы подвел итог начальник. – А следующий самолет через неделю, не раньше.

– Как?

– А так. У синоптиков спроси, они скажут.

– Да? Нет, это я у вас хочу спросить!

– Чего-о?.. – начальник с высоты своего роста смотрел на Бекета как на букашку, которая чего-то там жужжит.

Из прилипшей к избе шумной будки радиста, откуда доносился непрерывный писк морзянки, вышел некто квадратный, под стать начальнику аэропорта, не человек – кубышка. Долго стоял, зевая и неотрывно глядя на видневшиеся вдали дымки аула. Потом шумно, с хрустом в суставах потянулся, лицо его перекошилось от непонятной муки, будто он набрал полный рот соли – и нет сил проглотить, и невозможно выплюнуть. Глаза у него стали влажными, жалобными:

– Есть хочу!

Слова эти он обратил отчего-то к Бекету, будто тот его должен накормить. И попал в самую точку – Бекета так и подмывало сказать какую-нибудь пакость.

– А ты папаню попроси. Или он объел тебя? Он своим носиком всё, поди, вынюхал. У него носик вон какой – в казанок не уместится.

Начальник с готовностью откликнулся:

– И это не единственное моё украшение. – Он сделал жест не для детей и женщин. – Есть и другие, более завидные части.

Тут уж Бекет не нашелся чем крыть.

Между тем вечерело. Оголодавший молодняк покидал свое злополучное пастбище. Яловая тощая корова подошла к распластавшемуся поодаль пузатому вертолету, почесалась об него, норвя опрокинуть и, чтобы не тащить домой лишний груз, шумно опросталась от шлаков, накопившихся за день.

Ситуация была вполне безнадежной. Что делать, куда податься? Бекет здесь никого не знал.

Только тут он заметил «москвичонок», тот весь день стоял тихонько за избой. Рессоры у легковушки опасно затрещали, когда в кабину втиснулся начальник аэропорта, и «москвичонок», хотя был еще новый и справный, по контрасту с водителем казался неказистым, плюгавым. Впрочем, сигнал у него был, опять же по контрасту, басистым и зычным. Бекет даже вздрогнул, когда под боком у него просигналили. Дверца машины с треском распахнулась.

– Ну, что стоишь? – рявкнул на него начальник. И пригласил в машину.

«Москвичонок» в минуту одолел дорогу от аэропорта до поселка, промчал по единственной улочке меж домов, что погрязли в навозных кучах и горах мусора, и взлетел на пригорок, где, как бы сторонясь других строений, стоял на юру дом Кылынхана.

Во дворе вдоль забора аккуратными штабельками высились поленицы дров. Поленья изжелта светились в сумерках, на Бекета пахло смолистым духом листвяка, и он почувствовал, как стосковался по тайге.

Дом был просторным, с мансардой, старым его не назовешь, но бревна уже потемнели от времени. Поодаль высился стог сена, чернел ворох навоза, и в плетеном загоне шумно дышала скотина. Десяток-другой овец и коз да две-три коровы со вспотевшими боками – от них курился парок и оседал на рыжей шерсти инеем. Забыв о трухе соломы, которую полагалось прилежно жевать и усваивать, они жадно пожирали глазами стойло кобылицы с жеребенком, совсем еще сосунком. Кобылица пофыркивала и утопала по брюхо в душистом зеленом сене.

То ли зависть у нас в крови, то ли глаз по-дурному устроен, а так вот глянешь на этот крепкий двор, на достаток в нем, и шевельнется сразу же мыслишка, что хозяин, мол, рвач и хапуга – от трудов, дескать, праведных не наживешь палат каменных. А ведь куда проще поискать причину в том, что человек просто-напросто приложил ко всему свои руки, свое старание и, смотри-ка, во дворе и впрямь ни соринки, чистота и порядок на загляденье, как-то не свойственно это казахам, подумал Бекет, живут они обычно в небрежении к быту.

В сенцах стоял казан с кипящей водой. Входя в дом, Кылынхан снял мешок, что висел на карнизе. В мешке перекатывались мерзлые пельмени, и с полведерка их Кылынхан сыпанул в кипяток. Тут же, походя, нахлобучил старый сапог на трубу самовара, подбодрил в нем огонь. А сапожище-то – сорок пятый размер, не меньше, подумал Бекет. Интересно, кто же его носит?

В прихожей, как оно и положено в здешних местах, царил русская печь. Кылынхан, скинув обувь и надев шлепанцы, всё так же, походя, сунул в запечь валенки с портянками. Вообще, заметил Бекет, Кылынхан не мелочился в деле, но всю домашнюю работу, что ни подворачивалась под руку, тут же незамедлительно исполнял.

В доме стояла тишина, и цоканье ходиков делало ее почти осязаемой, уши как ватой закладывало. И ни одной живой души – ну хоть кто-нибудь вышел бы из четырех дверей внутренних комнат.

Бекет, за каких-то шесть часов одолевший путь от столицы до этакой-то глухомани, потом многие часы томившийся в аэропорту, вдобавок ко всему отставший от рейса и запертый теперь как в мышеловке чуть ли не целую неделю – когда он теперь объявится, следующий самолет? – мечтал лишь об одном: завалиться где-нибудь, пусть даже на голом полу, да задать храповицкого на полсуток, не меньше. Ну и что – уснешь теперь? Ой ли! Ведь сна не будет, ни в одном глазу, потому как ты сейчас будто пес приبلудный, непонятно где и неясно зачем...

– Э-эй! – оторвал Бекета от его развеселых дум чей-то протяжный голос, донесшийся из недр дома. – Кто бы ты ни был, помойся в бане. Всё одно стынет..

Голос был шибко уж глухой, будто донесся он с той стороны алтайских гор. Кто бы это мог быть?.. Кылынхан, крепко держа за уши кипящий, плюющийся во все дырки самовар, внес его в комнату. И в ответ на недоуменный взгляд Бекета выразительно повел носом, намекая про давешнюю пикировку в аэропорту, когда Бекет отослал проголодавшегося радиста к папане.

– Там, – выразительно кивнул Кылынхан в комнаты, – понадобится уже целых два казана, не меньше.

И снова вышел во двор. Ну и шуточки!.. Но, так или иначе, Бекет понял, что в доме есть старший. С одной стороны, надо бы его поприветствовать, но с

другой – не будет ли оно выглядеть как чрезмерное подобоострастие?.. Так и не решив этой дилеммы, Бекет не стал проявлять инициативу.

– Э-эй! – опять раздался глухой протяжный голос. – Кто-нибудь подаст мне штаны и рубаху?

Под лохматой и необъятной, как море, ягнячьей шубой лежал, вытянувшись, белый как лунь старик, и Бекету сразу же стало ясно, кто носит те самые сапожищи у входа, которыми Кылынхан раскочегаривал самовар. И хоть Бекета теперь уже покорило продолжение его же собственной шуточки про «два казана», но, справедливости ради, надо признать, что преувеличения здесь не было.

Старику никто не откликнулся. Да и кто бы ему откликался? Впрочем, старик увидел Бекета, и Бекет принаклонил голову, приветствуя старца, – не будешь же стоять пень пнём.

– Бездельники! – проворчал старик. – Ходят тут, ходят... Спокойно помереть не дадут.

Это он вместо приветствия, подумал Бекет. Ну-ну...

А дед всё ворчал по своей стариковской привычке:

– Так и знал, кого-нибудь принесет нелегкая. Специально они, что ли, тут шастают? Чтоб на мои живые мощи посмотреть...

Не спросил даже, кто я, откуда, зачем?.. Бекет хотел было обидеться, но, глядя на старика, раздумал. Старик лежал под шубой в чем мать родила, не прячась от чужого глаза, руки-ноги торчали неукрытые и, видно, озябли. Причем рубаха и штаны находились тут же, рядом, были они из льняного полотна – выкроены абы как и сшиты на живульку.

– И земля не принимает, и постель надоела. Бока отлежал, – вздохнул старик. – Лежишь одетый, всё тело чешется. А голому холодно... Э-эй!.. – опять воззвал он в пространство. – Ты в баню идешь или нет?

Вопрос был вроде бы адресован Бекету, хотя старик, явно пренебрегая гостем, вслушивался в то, что делалось за стеной.

– Гость из столицы, – ответил из-за стены Кылынхан. – Поди не завшивел еще...

– Из столицы... – недовольно прохрипел старик. – Зря жар пропадет. Знал бы, сам всё выпарил.

Так и не дождавшись ни ответа ни привет в свой адрес, Бекет, несколько смущенный, вышел из стариковской спаленки.

3

У Бекета потом была возможность разглядеть старика подробнейшим образом. Ресницы и брови старца были белыми, будто их пудрой присыпало. Кылынхан приволок тот самый безразмерный овчинный тулупчик, накинул его на плечи строптивного аксакала, и старик недвижимо сидел, как памятник самому себе. Причем сидел не моргая, будто сова таежная, которую прихватили в поселке середь бела дня. Столик был низенький, сидеть надо было на полу, колени старика топорщились, задевая подбородок, не уместаясь под столешницей и не позволяя путем приблизиться к столу. Впрочем, длиннющие руки, как крылья беркута, вполне компенсировали эту неловкость – старик мог дотянуться до чего угодно. Накоротке, как водится, сотворили молитву и приступили к трапезе. Женских рук не имелось, так что пришлось обходиться мужскими. Вся женская половина дома обосновалась на стене: с фотографий смотрели на мужиков русская молодаяйка

с накрашенными губами да высоченная и, видать, крепкая старуха, к которой прильнули двое детишек.

– М-да, – сказал старик. – И чьих же ты будешь – какого роду-племени?

– А ну как не того, какое тебе надо, что тогда – выгонишь? – вскинулся Кылынхан. Он выплюнул в ложку раскаленный пельмень, который катал во рту, пытаюсь остудить, но, видишь ты, безрезультатно, и, набычившись, увлажнившимися глазами посмотрел на отца, как бы вина его за то, что обжег себе рот.

– А коли без роду без племени, так и нечего шастать среди добрых людей!

– Тебе же сказано: из столицы.

– Да? А что, в столице уже казахи перевелись?

– А что – все казахи тебе родня?

– Может, и все, – мстительно сказал старик.

Бекет рассмеялся:

– Есимханов моя фамилия. Есимхановых я.

– Чему смеешься? – возмутился старик.

– А что ему – плакать? – Кылынхан сокрушенно смотрел в свою ложку. – Даже голый пельмень проглотить не даешь...

– Без причины человек за едой не смеется, – отрезал старик.

Бекет только руками развел и, чтобы примирить белобородого с сивобородым, рассказал им байку про то, как однажды такой же, как он, бродяга-казах, сидел в гостях у друга – узбека и вот так же, не совладав с горячим пельменем, выплюнул его. А пельмень взлетел вверх да и прилип к карнизу дома. Дело было летом. Попадает снова казах в тот же дом в январе. Глядь, пельмень тот весь в инее так и висит под карнизом, его дожидается. Бедолаге от одного воспоминания рот обожгло. Косит он глазом на пельмень, меня не проведешь, мол: хоть трижды ты покройся инеем, а есть тебя отказываюсь – изнутри ты такой же горячий и злой.

Байка была простоватой, но к месту, и Кылынхан от души посмеялся. А старик опять даже глазом не моргнул.

– Ясно, – сказал он. Интересно, что ему ясно? – Придется в честь гостя резать овцу, а то не уснет, чего доброго.

Вот так вот. И сказавши это, старик решительно сдвинул лопоту лепешки, лежавшей перед ним, к центру стола:

– М-да. И каких же это Есимхановых ты будешь?

– Есимханов из рода Жиен.

– Угу... Ясно, – и тут ему ясно. – Знаю, знаю таких. И с отцом встречался твоим, и с дедом. И тот гусь хорош, и этот. Хотя... на таких и держались Советы, и держатся. Отец, поди, и сейчас на плаву. Занимает себе теплое место и в ус не дует, а?

Да, не соскучишься. Интересно, а сам он праведник, что ли, чтобы так вот судить о других? Подмывало Бекета вернуть свой вопрос, но, глянув на совсем уже седую голову старца, он только-то и спросил его:

– Сколько же вам лет?

– А-а... Сколько ни есть их, все мои. Рад бы ссудить кому, да никто даром брать не хочет. А если верить паспорту, без малого сто семь годков.

Но и тут он походя поддел Бекета:

– Когда я к бабке своей на свидание бегал, твой дед под стол пешком ходил.

И старик, вся трапеза которого состояла из двух-трех глотков чая и лепёшки, он от нее отщипнул тоже не больше трех раз, да и те крохи обрабатывал челюстями.

будто косточку грыз, достал из-за пазухи деревянную зубочистку и, ничтоже сумняшеся, принялся ковырять в зубах. Впрочем, зубы оказались ровными и крепкими, как на подбор, и хоть кожа у кадыка провисла, будто пустая торба, но нетрудно было догадаться, что во время оно шею старика можно было сравнить разве что с оленьей. И все стариковское тело, заполнявшее необъятную шубу, как бы пренебрегало своими ста семью годами. А может, старик лукавит, набавляя возраст? Тот почувствовал сомнения Бекета, насмешливо глянул на него, и глянул будто свысока.

– И росточком дед твой не вышел. Был такой же, как ты.

Ну и язва!

– Ему всё едино, кому вставить перо – хоть зятю, хоть сыну, – сказал Кылынхан, давая понять Бекету, чтобы он не обращал внимания на колкости старика. – Он уж лет двадцать пять как овдовел. Говорю ему: отец, веди в дом токал, ты еще хоть куда! А он мне: женитьба, говорит, не напасть, да как бы, женившись, не пропасть.

И Кылынхан ткнул Бекета в бок, подначивая старика:

– А говорят, в Алма-Ате старухи вечером высыпают на улицу как овцы на выпас.

– Чья бы корова мычала... Сам-то что бабу в дом не ведешь?

Старик говорил ровным голосом, почти без интонаций, и сам этот голос был приятен для слуха, хотя звучал он, пожалуй, бесстрастно, равно как было бесстрастным и лицо старого человека. Видать, годы и годы долгой жизни испепелили на этом лице и гнев, и радость, и все прочие чувства, оставив лишь сторожкую зоркость, от нее не ускользнут ни звук, ни движение, как у старого беркута, хотя тому осталось всего лишь ловить мышей да разве что пугать холодным неподвижным взглядом всех, кто ему попадет на глаза. Во всяком случае, Бекет не решался прямо смотреть в лицо старику. А из разговора отца и сына нетрудно было понять, что и высокая румяная старуха, и молодайка с накрашенными губами покинули этот дом, лишив его столь привычных всем нам уюта и женского тепла.

Застольная беседа меж тем продолжалась.

– И куда же мы путь держим?

– В лесхоз, – неохотно ответил Бекет.

– Так у нас лесхозов – эвон сколько...

– В Аксу.

– Ясно. Значит, едешь к Сигату, – старик окинул своим зорким глазом гостя.

И подытожил: – Губа не дура...

Впрочем, последние слова он произнес, глядя уже не на Бекета, а на входную дверь. Крадучись, как загнанный бродячий пес, в дом прошмыгнул чумазый парень. Был он как чурбачок коротконог, короткорук и неошкурен, старался держаться в тени, не привлекать к себе внимания. Беззвучно сел у низкого стола. Резкий запах солярки и других горюче-смазочных средств – они вместе с ним вошли в дом – не оставляли сомнений в том, что это тракторист.

Старик, всё так же не отрывая взгляда от входных дверей, бесстрастно продолжал:

– Ну вот, теперь не сдохнем, случись голодная година. Поди, стог сена приволок, не меньше?

Бедолага чумазый даже голову в плечи втянул, его будто по полу размазали, как кусок мазута.

– Ты дай батыру этому салфетки, – попросил старик сына. – Оно, конечно, черного кобеля не отмоешь добела, но он хоть часть сокровищ снимет с себя.

Парень, видать, готов был провалиться сквозь землю. То на руки свои посмотрит, то на ноги. И впрямь – чурбачок неошкуренный, подумал Бекет. Впечатление усиливалось тем, что макушка у него была квадратной и плоской, а густая буйная шевелюра подстрижена под ёжик, и волосы жесткие, как проволока, там, поди, ножницы зазубрились, когда его стригли. Зловредный старик так устрепал его, так укатал, что колченожка на рысях побежал умываться.

Впрочем, пупок умывальника звякнул всего один раз – коротышка давно осознал всю тщету умывания, считая, что главное быть чистым помыслами. К тому же он явно проголодался. Но едва он уселся за стол, как в двери вошла здоровая рыжая баба и монументом застыла у входа. Никто и ухом не повел, кроме Бекета, разумеется. Не мог же он сделать вид, что не замечает столь крупного явления природы. Это невнимание к себе, видно, задело бабу за живое. Она подбоченилась.

– Расселся!.. – голос у нее был трубный, как у боевого коня. – Сидишь!..

Казалось, коротышка стал еще короче.

– А может, не будем шуметь, а, сноха? – старик как при ознобе запахнулся в шубу, словно вместе с рыжей бабой в дом вошел лютый январский мороз. – Садись, в ногах правды нет. Да и он, сама видишь, с дороги, только-только ногам дал покой. Конечно, если не завернул по пути к свату, брату...

– Во! Завернул – еще как завернул!

– С чего ты взяла?

– А с того!.. – и рыжая баба, потеснив бедром коротышку, развернула к себе самовар, отобрала у Кылынхана ложку, которой тот добавлял молоко из пиалушки с чаем. – Дома ни полешка, хоть волков морозь... ни навильника сена, корова надрыдается, ревет голодная... Она хоть и комолая, а жрать-то просит. А этот – полнобуйтесь! – прохлаждается, из гостей не вылазит. Нет, он занят, куда там! То пеньки задом мнет, то стены в конторе отирает. С утра до вечера, с утра до вечера!.. А домой в полночь – на бровях приползает, – и без всякой логики, тут же с возмущением: – Его ж этот трактор заездил!.. И беременный деверь жмот – ни копейки за три месяца не выплатил. Нет, ну сколько можно на чужого дядю пахать? А ведь у нас шесть ртов – мал мала меньше. Кто их должен кормить? Вы?! Мне недолго их кликнуть, они вот они, рядом...

Она с такой решимостью объявила об этом, что старик невольно поежился под шубой, будто сейчас вот откроются двери, и все шестеро с ложками выстроятся у порога. Между тем сама рыжая баба, опрокинув в себя пиалушку горячего чая, принялась уписывать пельмени. Они дымились в раскаленном сливочном масле, но, видно, нутро женщины было куда горячее, пельмени пташками летели в ее шустрый рот. И хотя механизатор от слов ее и голоса вжимал плечи в голову, но даже стороннему было ясно, что вся эта гроза адресована не нашароханному коротышке, а другим присутствующим здесь людям.

Старик долго и пристально глядел на квадратную макушку тракториста:

– Хотел бы я знать, чего ты просил, а я тебе не дал?

Вопрос старика, впрочем, был задан не квадратной макушке, а тонкогубому бабьему рту, куда улетали пельмени.

– Здрасьте, приехали! – оторвалась та от пельменей. – А корова? Она же ревмя ревет голодная. У меня от этого рева схватки начинаются, я родить могу не ко времени.

Теперь старик смотрел на бабу, смекая, очевидно, чем он может ее удержать от преждевременных родов.

– Да я специально его послала к вам, чтоб он взял у вас, нагаши¹, ну хоть навильничек, хоть копеночку сена.

– Угу, – старик перестал зябко кутаться в шубу и даже расправил плечи. – Значит, вы теперь так – по одному не ходите. Чтоб попросить навильничек... или там, без разницы, копеночку... вы теперь дуэтом, поете в два голоса. Угу, понятно. А хотел бы я знать, летом вы делали что? Ну, то, что ваши старшие под притолоку вымахали и косу вполне держать могут, это не только коню – трактору ясно. Но ведь и ты, сноха, лягнешь если, верблюда на месте уложишь. Да что ж это за жизнь такая пошла! Что же все вы ждете, когда мужик в дом принесет копейку? Один, значит, с сошкой, а семеро с ложкой!..

– Ой, нагаши, опасные речи!.. А всё от того, что сытый голодного не разумеет. Ты сам смекни, когда б это я косой шуровала? Я из роддома не вылажу. Он же мне простаивать не дает! Разве что вы, люди добрые, поможете отправить его в элтэпэ года на два, чтобы я отдых дала. Не себе – утробе своей... А то истерлось всё начисто!..

И чтобы не было сомнения на сей счет, она дернула поясок застиранного ветхого халата, выпятив свой недвусмысленно полный живот.

Ну, уж в каком они родстве, Аллах ведает, казах при желании каждому двоюродному забору может найти троюродный плетень. И коли этот вековой сук сумел даже Бекету намекнуть, что когда-то, будучи зеленой веткой, он шумел листвою чуть ли не на одном дереве с предками Бекета, то уж с трактористом и с его хронически беременной бабой старик наверняка был в каких-то родственных связях. Он и не думает чураться их – напротив, лицо старика подобрело от притязаний женщины, и он не без удовольствия готов платить ей подать за то, что она не только словом, но и делом красит их родственный союз.

– Раз уж ты своих архаровцев решила нам подбросить, то заодно запри в нашем сарае и молоко для них, – решил он участь комолой коровы. – Только пусть они хоть по очереди заглядывают, навоз от нее отгребают. А то навильником сено из одного двора в другой не шибко натаскаешь, больше растрясешь... Да, кстати, баня зря стынет, – вот уж, действительно, кстати! Там целый казан горячей воды, и камни стоят раскаленные. Я был бы рад, если б тебе удалось хоть слой мазута смыть со своего кормильца.

– Это мы мигом, это мы враз! – она была рада без памяти, что ее комолой корова получила здесь прописку до весны, а то, что муж как чушка грязный, это уж дело второе или третье. Она пренебрегла даже тем, что самовар был еще наполовину полон и опустел бы никак не раньше, чем за четверть часа. Она ткнула мужа в бок: «Так и будешь сидеть тут сиднем!» – и уметнулась прочь, то ли в самом деле баньку налаживать, то ли корову пригнать по горячему следу, пока не раздумали. Она уметнулась, а старик да Кылынхан, видать, привыкшие к таким визитам, как бы и не заметили ее ухода. Правда что, минуту спустя старик скосил глаз на квадратное темя затаившегося Котыина:

– Под тобой не мокро, нет?

Тот даже руку сунул под себя, чтобы удостовериться, что под задницей сухо.

– А то, не ровен час, в штаны со страху навалишь...

¹ Родственник по материнской линии.

Погода начала, однако, портиться. У горизонта будто опрокинул кто-то ведро сметаны, белесая муть расплзлась по небу, заполняя мир промозглостью и низовым пронизывающим ветерком. Старик Жанжигит недовольно повел подбородком, как бы осуждая действия природы, и принялся загонять в крытый сарай жеребую кобылу и коров. Между тем на улице появился всадник, он гарцевал на черногривом саврасом иноходце, и по обе стороны седла у него свисал какой-то неприглядный груз. Лишь приглядевшись, Бекет понял, что это живот всадника – впечатление было такое, будто напялили на мужика баллон от колесного трактора, и человек разъезжает с такой-то красотой, у иноходца аж поджилки дрожат от перенапряга.

– Куда везем свой драгоценный груз? – вместо приветствия бросил ехидный старик.

Всадник притормозил, спешился, снял с седла свой живот и неожиданно легко, трусцой, услужливо засеменял к старику, выказывая ему и его гостю, Бекету то есть, всяческое уважение. Не проронив ни слова, он угодливо пожал им руки и снова взгромоздился с брюхом в седло. Бекет тут же вспомнил, что в недавнем застолье та самая баба на сносях несколько раз помянула кого-то, сказавши «беременный деверь». Теперь стало ясно, что речь шла об этом вот брюхатом дяде, и Бекет подивился способности деревенских баб давать клички: скажет – как сваркой приварит, ни в жизнь не отдерешь.

Беременный деверь хотел было двинуться в путь, но старик одним лишь взглядом перекрыл дорогу звякавшему удилами и прогибавшемуся от непомерной ноши иноходцу. Не торопясь, упершись грудью о заплот, старик сказал:

– Ты это...

Крякнул, смачно плюнул, целя в кучу навоза, зорко проследил за собственным плевком. Еще раз сказал:

– Ты... это... – давая понять, что у него есть претензии к надутому пузу. – Ты мне скажи: ты что гнобишь беднягу Котынина?

– Чего?..

– Ты почему заставил мужика зависеть от капризов беременной бабы?

– Да он сам!.. Ты к нему по-людски, а он, козел вонючий, норовит в кусты.

– Ты... смотри!..

– Чего смотри? Вот дороги подсохнут, он тут же в глубинку смотается шабашить.

– Как смотается, так и примотается. А ты родня, как-никак. Или думаешь что: раз в это седло сел, так ты Господа Бога за бороду ухватил?

– При чем тут – в седло сел?.. Да он, собака, упрямый, как осел... Все они такие – и отец его, и дед...

– Вот спасибо! И за собаку, и за осла. Я-то держал сам себя за приличного человека.

– Ой, ну я же не вас имел в виду! Я имел в виду ту собаку. Был у него дед по матери? Был. Вот я и... Нет, ну вы напрасно так! Вы...

Слов не хватило, и брюхатый кайнага¹ снова скатился с коня, накинул узду на колышек и с такой решимостью направился к старику Жанжигиту, будто хотел заставить его по меньшей мере откочевать с этих насиженных мест. Старик же,

¹ Старший родственник по отцовской линии.

высказав свои упреки брюхатому, хотел уйти, но тот, увидев его спину, забежал с одной стороны, с другой, смекая, на какое ухо старик лучше слышит, и запыхтел в обиде:

– Вот кобель, а! Вот нахалюга... На лесопилку кто его устроил? Я. Ну так работай! Не-ет, у него, видишь ты, жена на сносях, он не может отлучаться из дому. Ладно, иди на ферму. Ах, и тут тебе не глянется, от навозу морду воротит. Аристократ нашелся! Вся задница в мазуте, а туда же... Чистюля! Нет, вы мне нравитесь, я же еще и виноват...

– Ладно, ладно! – отмахнулся старик. – Пожалел волк кобылу...

Брюхатый запыхтел с удвоенной обидой:

– Нет, ну почему на меня всех собак вешают? Я же хочу как лучше! Мы все тут не чужие друг другу...

Видно, вот это вот: «мы все тут не чужие друг другу», – было очень важно для брюхатого. Но, не отрекаясь от необщих родственных уз, он не хотел быть козлом отпущения и снова покатил бочку на Котыина.

– Тоже мне, пуп земли! Залез на трактор и думает, что на трон взобрался. А ну как я на него буду записывать и бензин, и горюче-смазочные...

– Еще что за новость?

– А пусть знает, это не личный его транспорт, чтобы гонять туда-сюда. Ишь, добренький! За государственный счет. Кто ни попросит, он – пожалуйста: дровишек подвезет, то да се. Лишь бы на бутылку дали. Да мне что, жалко, что ли! Но домой принеси ту копейку. Ведь детишки голодные, разутые-раздетые, баба ходит, поди, без трусов...

– Ты что – мне подол задира? – раздалось как гром среди ясного неба. Только этого не хватало! За спорами-разговорами они не заметили, что во двор вошла давешняя сноха на сносях. Она привязывала к стойлу жеребой кобылы свою рыжую полудохлую коровенку.

Брюхатый кайнага вмиг оказался верхом на своем черногривом савраске, ворча в замешательстве:

– Вот влип!.. Она же пойдет врукопашную...

Но оказавшись на коне, он почувствовал относительную безопасность и снова заважничал:

– А почему это я всем обязан? Все мне родня, каждый готов доить меня по-чем зря...

Он приумолк на минуту, глядя, как Кылынхан тут же во дворе свежует овечку. Кылынхан как раз содрал с нее ярко-рыжую шкуру, развесил ее на кольях. Сноха, пристроив коровенку, тоже хлопотала рядом: приволокла чашку, вывалила в нее часть овечьих кишок, потащила их к мусорной куче. Вся эта мирная картина настроила брюхатого кайнагу на мечтательный лад, опасность миновала, явились невольные мысли о бесбармаке, о запотевшем граненом стакане, в нем градусов сорок, не меньше.

– Что это – неужто кончились осенние припасы мяса? – деланно удивился он. – Тоя¹ у вас вроде не было, и риса не так уж много...

– Свеженького захотелось, – ответил старику Жанжигит. – Да и гость у нас нынче, как видишь. Если тебе, конечно, глаза не запорошило – если ты еще способен замечать вокруг кого-нибудь, кроме самого себя.

¹ Той – праздник, пир (каз.).

Брюхатый кайнага набычился, помрачнел:

– Может, не стоит так заноситься?

– Вот-вот, о том и речь. Я ладно – одной ногой на том свете, скоро помру, мне твои заботы не нужны, обо мне Аллах позаботится. А вот о них, о живых, о тех, кто рядом с тобой, заботиться должен ты. Кто тебя посадил на коня? Они. Так дай им работу. И заработать дай.

Тут уж брюхатый и вовсе окрысился.

– А при чем тут – «одной ногой на том свете», «скоро помру» и так далее? Твоя жизнь, твоя смерть – это одно, совхозные дела – совсем другое. Зачем всё валить в одну кучу?

Видно, старик его допек и даже оскорбил. Потому что брюхатый, забыв про всякую там вежливость, попер без обиняков, напрямки:

– Где я зимой возьму им работу – рожу, что ли? Трактора на приколе, перевозок никаких. Мне что – фабрику открыть для Котыина... и для всех этих баб, что бока отлежали? Пусть на зиму уходят в спячку, как медведи. И плодятся, вроде овец, всё будет польза какая-то. Вот наступит лето – пожалуйста! Валите в леспромхоз, на питомник... И потом: ты когда был председателем? Сорок лет назад! И все эти сорок лет ты лезешь со своими приказаниями, указаниями. Может, хватит, а? Я по горло сыт советами твоими, под завязку!.. О народе он, видите ли, заботится, благодетель нашелся.

И прежде чем пришпорить ойкнувшего коня, он зло процедил сквозь зубы:

– И не дави на меня! И права не качай.

Саврасый увез свою тяжкую ношу.

– Хорош. Куда как хорош! – вздохнул Жанжигит. – Типичный образец современного хана. Между прочим, твой земляк и соплеменник, – пояснил он Бекету. – Ох-хо-хо! Перевелись председатели, помельчали, – и отдельно, по слогам: – Уп-рав-ляющий... Тьфу!

– Улизнул? – искренне удивилась сноха, пронося мимо тазик с потрохами. – А я, было, хотела брюхо ему набить требухой.

– Успеешь, – успокоил ее старик. – Раз уж он разнюхал, что тут свежатинка, далеко не уйдет. Или он не Шонмурын¹?

– Эй, летчик! – позвала Кылынхана сноха. – Давай мясо, на огонь казан поставлю.

И сама себе:

– Всё, загудим сегодня... Толкотня будет в доме за полночь.

Как оно и положено, все двенадцать частей овечьей тушки были завернуты в шкуру. Кылынхан занес их в чулан, передал снохе, снова вышел во двор, прихватив паяльную лампу. Если уж аульные собаки не обходили этот двор стороной, вынюхивая мосол, а то и лакомый кусок требухи, если уж изголодавшиеся коровы даже ночью в поисках половы забредали сюда, и двор не таил для них угрозы, то кто его знает, сколько всякого люда, родни и не только родни, соберется здесь к тому часу, когда снимут казан с очага... Жаке² зашел в загон, вилами выбрал из-под копыт и копытец полову, сенную труху, отгреб их в мусорную кучу и долго смотрел на отощавшую за зиму, трясущуюся, блеющую, жующую и шумно дышащую живность. Ну какой спрос с них, бедолаг, если сам владыка, человек, опустил на четвереньки?..

¹ Большой нос (каз.).

² Уважительное от имени Жанжигит.

Старик стоял, опершись на вилы. Вечерние сумерки потихоньку подкрадывались к ленивому аулу, из труб медлительно тянулся дым, не хотел далеко уходить, и синяя тьма густела по углам и закоулкам. Лицо старика тоже было сумрачным, то ли страх, то ли безгливость читались на нем, будто из закутков пялилась на него всякая нежить, и он рад бы на нее не смотреть, но, видно, никуда не денешься. А ведь я не больно-то поверил, когда он сказал, что ему сто лет, подумал Бекет. Старик также недвижимо стоял, тяжело опираясь на вилы, пристально следил за вечерними сумерками и казался реликтом из бог весть каких допотопных времен.

– Так и живем, – голос старика был глухим, как из другого тысячелетия. – Народ оскотинился, мужики измельчали, бабы пьют, мальчишки остались без обрезания, девочки растут без послушания. Даже коровы... баб-то, считай, не осталось, некому тянуть буренку за вымя – даже коровы, и те превратились в быков!..

Сказать по правде, Бекет был озадачен словами старика о том, что старик знал деда Бекета – и когда! Еще в те поры, когда дед пешком под стол ходил. Так ли это?.. Бекет родился и вырос в теплых южных краях за полторы тысячи километров отсюда. И хотя последние семь лет он провел в Алтайской тайге, но ему и в голову не приходило, что эти места имеют какое-то отношение к его корням и его началам. Подумать только, до тридцати лет он ни разу ни у кого не спросил, где же его прародина, земля отцов, где вотчина дедов. Бедный отец, работает замом в одном из столичных учреждений, зубами держится за кресло, он и рта не раскрыл, чтоб сыну показать, чей он родом, откуда он, а сын вот уж семь лет бродит где-то по таежной глубинке – без крыши над головой, без семьи, без дома.

Из долины речушки Кулмес поднимался липкий туман, он усилил стужу, и в нем исчезли крыши двух аристократических зданий, в одном из которых был то ли кинотеатр, то ли магазин, потому что фронтоны этого здания как бы хлопал ресницами разноцветной электрической вывески. Оттуда доносился голос Бернса: «Я люблю тебя, жизнь», но тут же по радио в разноразной с песней играл свою шумную музыку оркестр. Единственная улица поселка опоясывала подножие горы, когда-то улице этой дали название Сарымсакты и, благодарение небесам, забыли поменять его, как это принято теперь, на другое, более модное и более созвучное эпохе. Те два здания были центром поселка, как теперь говорят, очагом культуры этого селения, но очаг тот едва ли согревал живущих здесь и являл собой лишь видимость душевного тепла и единения, из трубы каждого дома шел свой дымок, а между очагами давно витал дух отчуждения.

От гремящего радиомызыкального центра по улице шли две женщины с тяжелыми и безразмерными авоськами, но вопреки этой ноше походка женщин была преисполнена важности, будто они возвращались домой по меньшей мере из Мекки.

– А что, они, бедняжки, вправе гордиться собой! – прокомментировал их появление Жаке. – На них лежит вся работа райкома и райисполкома. Ну дела-а!.. Хотел бы я знать, – с горьким ехидством продолжал старик, – кого они сегодня стерли в порошок, а кого вознесли до небес, эти святые пророчицы власти. Что там песнопения жырау, в наше время – их ясновидение, вдохновение! Да эти две с куриными мозгами сейчас несут своим мужикам бутылку из сельмага, а заодно и... самые свежие постановления ЦК и Совмина. Господи, да что ж это дается! Этим двум квочкам сидеть бы в своем курятнике, а не управлять страной...

Старик жил явно устаревшими представлениями относительно предназначения женщин, тоскуя по утраченному могуществу семейной узды и мужского кнута.

Лишь упрямством деда можно было объяснить то, что он повязал бабьими хлопотами у домашнего очага своего сорокалетнего сына, этого здоровяка, который был ни мало ни много начальником аэропорта. А сам он что – тоже хорош. Стоит у мусорной кучи и перебивает косточки соседским бабам. И все-таки поверх житейской сути Бекет видел – и не видеть не мог! – правоту старика, привыкшего смотреть на мир с высоты своих прожитых лет, патриарха, хранителя огня, хранителя устоев всё усложняющейся жизни с ее духовным оскудением и бытовым невежеством, которому кто-то должен противостоять. Он вместе со стариком смотрел на двух гордо шествующих совработниц аула и понимал, что ни одна из них, пожалуй, не знает, с какого боку подходить к корове, что доить они могут разве что своих мужиков, а как держать корову за вымя, не ведают, и сливки снимают они разве что с молока, купленного в сельмаге. Они сейчас переступят порог своего дома, сбросят с ног сапоги, а утром, чего доброго, у мужиков будут спрашивать: «Ты, случаем, не видел, куда это я сунула вчера свои портянки?». Ну, если не портянки, так носки. Вот что у них в авоськах? Непропеченный хлеб сельповский, от него собаки голодные морду воротят, да макароны в палец толщиной. Ломоть хлеба ей будет недосуг отрезать, она так отворотит кусок от буханки, и макароны, пожалуй что, доварить не успеет, шваркнет на стол перед мужем кастрюлю: «Ешь. Не нравится? Ходи голодный!..» А ведь бывало – эх, бывало! Вскакивали невестки с постели ни свет ни заря вместе с первыми пташками, чтобы готов был горячий завтрак, когда проснется муж. А этим дай волно, до обеда проваляются в постели да норвят в столовку спровадить мужика – пусть там обедает. Как же вернуть их с мужьями к родным очагам, – оторвать мужиков от пустых и никчемных застолий за бутылкой белоголовой, а не нашлось такой, найдется домашняя бражка. С бутылкой спорят, а задницу нечем прикрыть. Безделье и пустословие, как болезнь, одолевают людей, им сколько ни давай, всё мало, а с них самих и взять-то нечего. И снохи, без которых, бывало, семейный очаг – не очаг, стали, видать, сущим наказанием. Иначе старик не кинулся бы с откровениями своими к Бекету, которого он видит в первый раз, не стал бы принародно, при незнакомом человеке отчитывать на улице пузатого племянника (как они его там окрестили – «беременный деверь!»), хватать его чуть ли не за грудки, взывая к его совести, чтоб он людей обеспечил работой. Да и сам Бекет, не чувствовавший до сих пор укоров совести, считавший себя вполне нормальным членом общества, быть может, впервые подумал о том, что есть на белом свете народ, и это не абстрактное понятие, а живые и очень не похожие друг на друга люди, у каждого из которых своя жизнь, не очень складная, латанная-перелатанная, как телогрейка на каком-нибудь Котыине. И под этой драной одежкой – душа человеческая, она болит, она кровоточит, и некому залечить ее сокровенные раны.

После недавней застольной баталии Кылынхан не встречал в разговоры с отцом, оставив поле боя другим, а сам с головой ушел в чисто мужские дела по дому. Он только что обработал паяльной лампой темно-мухортную овечью голову, она какой-нибудь час назад бляла в загоне, принадлежала рыжей яловой двухлетке, которая отдала свою овечью душу Аллаху во имя грядущего тоя. Теперь у опаленной головы топорщились вылизанные огнем уши, Кылынхан передал ее снохе, а сам принялся обрабатывать овечьи ножки. Из зеленой глотки паяльника вырывалось яростное пламя, но, покрывая этот гул, Кылынхан между делом рассказывал что-то снохе, отчего та смеялась. Видать, объектом их смеха были старик

и Бекет, но расслышать что-либо было трудно. Бекет продрог, однако старику это было невдомек, он ударился в воспоминания, и тут хочешь не хочешь, а слушай.

– Когда я сватался к сестре твоей бабушки, моей невестке было... сколько? Двенадцать лет, – старик говорил, ничуть не заботясь, слушает его Бекет или не слушает, но ни на миг не сомневаясь, что Бекет рядом, потому что он должен рядом быть. – Отец мне дал на обзаведение семь овечек полуторогадовых – правда, с бараном в придачу, семь коз с козлом, семь кобылиц – трехлеток, ну и жеребца, конечно. Теперь так, сказал он, жену заставь скатать семь кошм и состегать семь одеял. Смекаешь, почему по семь? Я спрашивать не стал, не положено, он тоже промолчал. Это уж после мне объяснили, что так принято одаривать сирот. А сказал он мне вот что. Если в твой дом, говорит, придут гости, хоть семь человек, один за другим, ты каждого – кровь из носу! – приветь, приюти, накорми, обогрей. А не сделаешь этого – я тебе не отец.

И вот все эти семь одеял, семь кошм протерлись под боками гостей, износились, я не нарушил отцовский завет. Этим вот горбом, этими руками добился я, чтобы в доме моем был достаток. Были и овцы у меня, и козы. Все подчистую государству сдал. Семь кобылиц моих трехлеток превратилось было в семь косяков лошадей, но... В двадцать восьмом году пришел твой отец и... перестрелял их всех из пулемета. Сап, говорит. Слышал про такую болезнь лошадей? А не слышал, и слава Аллаху. У нас во всей округе лет десять после этого не слышно было ржання лошадей. В общем, сородичи постарались. И как я сам не оказался в числе прокаженных? До сих пор не пойму.

– Вот, глянь туда, – ткнул старик огромной лапищей своей куда-то за горизонт. – Там, на той стороне, обрыв. Будто кожу с земли сорвали, кровоточит. Уж сколько лет прошло, а посмотрю туда, и чудится мне, будто бьет пулемет и лошади ржут. И падают, падают с обрыва. Уши затыкаю, а без толку. Лет до семидесяти просыпался в холодном поту, всё чудилось мне ржання тех лошадей, которых отец твой – из пулемета...

Обрыв был скрыт туманом. Лишь огни в окнах домов вытянулись клином, словно гусиная стая. И огни эти вдруг показались Бекету вылезающими из орбит глазами лошадей, гонимых на пули, будто сейчас вот ударит пулеметная очередь, и кони, рвя путы, с отчаянным последним ржанием рванутся в вечность, в небеса, к своему лошадиному богу. И без того продрогшего Бекета пробрал мороз, теперь уже от жути, он невольно отшатнулся от заплота, чтоб одолеть этот морок и страх...

До него донесся голос Кылынхана, тот утирался полотенцем, закончив, как видно, работу и вымыв руки:

– Вы что, думаете, у меня железное терпение? Завтра же попру с работы!

Под казаном в чулане змеилось яркое пламя.

– Ой-ей, не угодили? Чем?

– А тем! За одну из вас мою полы, за другую – в кассе работаю.

– Ну и что! Переработал, бедняга. Там пол мыть нечего, шваброй пятак обмахнул, и всех делов-то! Ну продал десяток билетов, так из-за этого – скандал поднимать?

Сноха, ударив по тыльному концу полена, оно чуток высовывалось наружу, не умещалось в печи, толкнула глубже головешку в раскаленный зев топки, отчего пламя заиграло с удвоенной силой, и, как ни в чем ни бывало, принялась помешивать бульон.

– А я не скандалю, – сказал Кылынхан. – Выгоню к чертовой матери, и всё тут. Из-за вас вон человек отстал, – кивнул он на Бекета.

– Значит, выгонишь, да? – подбоченилась сноха. – А кто тебя заставлял брать беременных баб на работу?

– А почему мне знать, яловая ты или на сносях? Я что – гинеколог? Вас на работу берешь, вы вроде в ажуре, а дней через пяток глядь – уже распухла, как набитый соломой мешок.

– Господи-и... – застонала сноха. – Что за жизнь? На курорт не поедешь, развлечений тебе никаких, с утра до ночи пашем, сами себе зарабатываем на хлеб, детей вам рожаем, и мы ж еще виноваты. Между прочим, – мстительно ткнула она себя в живот, – они все твои родственнички.

– Может, ты еще алименты мне присудишь?

– Сохрани и помилуй! У него, слава богу, есть отец. Хоть и плохонький, а под одеялом сойдет. Меня не обижает. Ишь, чего захотел! Алименты он будет платить... А сам и одной бабы не смог удержать!..

Перепалка, начавшаяся, по-видимому, с подначек и грозившаяся разрастись до крупной ссоры, тут же оборвалась. А рыжая гром-баба, осадившая начальника и пристроившаяся было греть задницу на припечье, причем раздумянулась и от разговора, и от жара печного, и оттого, что кипел в казане бульон, а потому в чулане было жарко как в парилке, вдруг вскочила с места и наострилась бежать:

– Мой-то, наверное, материт меня в бане, на чем свет стоит! Я ж ему белишко не дала. Прикрыл, поди, рукой свой интерес и носа из парилки не кажет.

– А хоть голым его пригони! – и Кылынхан шуганул ее. – Рукой, видишь ты, прикрыл интересное место... Может, ты еще какие-нибудь подробности расскажешь гостю? А ну – сгинь!

Бекет не очень-то прислушивался к их перепалке. Мозг сверлили другие слова: «Во всей округе лет десять потом не слышно было ржання лошадей. Всё сгубил, всё уничтожил». И неотступным кошмаром, неотступным укором стояла перед ним цепочка стреноженных огней на яру, и Бекет невольно отводил глаза в сторону, боясь встретиться взглядом со стариком Жанжигитом, этим живым напоминанием о прошлом, неведомом и грозном, до которого, казалось бы, теперь никому нет дела.

5

Был край обрыва и за ним зияющая пропасть, и был орущий некто: «Всех порешу!» Орал отец, взобравшись на белую «Волгу» с винтовкой наперевес. На нем была кольчуга, шлем, еще какие-то средневековые доспехи. Похоже, что опять пришли джунгарские громилы, и отец самый главный у них. Теснят толпу к обрыву, к пропасти, хотят отнять коней, но каждый крепко держит лошадь в поводу, и крики лошадей мешаются с храпом и ржаньем. Старик Жанжигит – при галстукке и в буденовке с отвислыми ушами, а рядом с ним вопит его рыжая сноха – толстуха, она пытается вырвать из рук колченогого мужа с квадратной башкой веревку, на которой тот держит тощую комолую корову. «Всех уничтожу!» – ревет басом баба. И эта туда же... И тут застучал пулемет, всё стало рушиться в пропасть с ужасным воем, грохотом и свистом, потому что рушились не лошади, не люди, а трактора, машины и прочая техника. Впрочем, они тоже отчего-то ржали предсмертным ржанием, храпели, фыркали. А Бекет на краю

обрыва, сейчас его сомнут, затопчут, низринут, но он оцепенел от ужаса и лишь сучит ногами по земле...

Он вздрогнул, очнулся. Из будки радиста неслась какофония хрипов, воя, космического плача и свиста. А грохотал, оказывается, толстопузый вертолет. На Бекета пристально смотрел радист, и авиашлем на его голове наваял Бекету всю эту мусть с кольчугой и джунгарскими громилами.

– Верещишь ты во сне, как ягненок под ножом, – хохотнул радист. – А ну, быстрей бери свои манатки и дуй на вертолет!

Подумать только, минуты на три сомкнул глаза, а успел побывать в трех веках сразу. Он с удивлением смотрел на рыжую сноху – бабищу, которую только видел во сне, она и наяву тянула за веревку свою комолую корову, которая, понятное дело, паслась на взлетной полосе.

Толстуха тоже хохотнула:

– Не узнаешь, племянничек?

А он никак не мог отделаться от сна и молча пялился на бабу.

– Слышь ты, молчун: тебя не хватит карачун? – она сочувственно покачала головой, продолжая тянуть за собой свою упрямую корову. – Это ж если тебя одного в тайгу запустить месяцев на десять, так потом найдешь разве что в обнимку с медведем у него в берлоге.

Откуда было знать снохе – толстухе, что молчуном Бекета сделала всё та же тайга. До приграничного района свет не ближний, прямой дороги даже по воздуху нет. Сначала надо лететь из Коктаса в соседний район, и лишь потом «кукурузник» доставит тебя до Урыля, но это если будет летная погода, а она даже солнечным летом меняется сорок раз на дню, так что, смотря по настроению капризных алтайских небес, может так «распогодиться» – не то что на самолете, на телеге дней десять проехать нельзя. Зимой оно, конечно, проще: торосами рек до ущелий можно пробраться на лыжах или на саях. Но это если опять же не было оползней, снежных завалов и селей, а если были, то до весны кукуй в горах середь тайги отрезанным ото всего прочего мира. Тогда вся надежда на телеграф, телефон да на пузатую стрекозу – вертолет.

Вертолетчиком был сам Кылынхан. Он усадил Бекета рядом, опутал его ремнями, чтобы не вздумал в воздухе сбежать. Судя по тому, как шевелились губы, дал какой-то совет, возможно, ценный, Бекет за грохотом винта не расслышал. Он лишь покорно подчинился да пялил глаза вокруг.

А Кылынхан здесь был не тот, каким его знал Бекет там, на земле. Казалось, это совсем не его Бекет видел со шваброй в руках, с вилами, с паяльной лампой, у очага и за столом. Его глаза стали непроницаемы, и нос – мясистый нос, теперь казался много меньше на этом чужом, холодноватом и жестком лице, глядевшем из-под авиашлема. Чуть позже, сунув свою волосатую руку за солнцезащитный козырек, он достал оттуда второй шлем, нахлобучил его на голову Бекета, соединив шнур наушников с радиоаппаратурой.

И тут Бекет вновь, уже наяву, увидел зияющую пропасть. Она беззвучно проплывала внизу, потому что шлем отсек весь шумный, грохочущий мир, и в парящем перед глазами пространстве на какое-то время воцарилась мертвая тишина. Деревянные домики, что бежали обочь единственной улицы поселка, напоминали каменные изваяния, как бы привязанные к самому краю пропасти и оцепеневшие у смертельно опасной черты. Нечто похожее на траншею тянулось

под обрывом, оно простерлось на много километров и было, наверное, местом гибели и могилой тех самых расстрелянных лошадей. И в тишине будто бы слышится Бекету, как некий умник, забравшись на обрыв, орет, срывая глотку: «Всех порешу, всех постреляю!..» И когда вертолет взял круто на север, изваяния домов словно брызнули в разные стороны, бросились врассыпную, а Бекету вспомнились горькие слова старика Жанжигита: «Будь спокоен, сородичи постарались... И как я сам не оказался в числе прокаженных?»

...Алтай никому не показывал своей макушки. Но неприступность гор, их непокорность, пожалуй что, никак не проявлялась в людях, обитавших здесь. Скорей напротив, горы мощью своей давили на человека – мол, всяк сверчок знай свой шесток, не очень-то фордыбачься и копошись себе внизу, где тебе и положено быть. А может, еще и потому, что Бекету пришлось семь лет безвылазно прожить в ущельях, запутавшихся в широченных штанинах Алтая, и все семь лет не видеть земли дальше собственного носа, может, потому, поднявшись всего на два километра и вдруг увидев распахнувшийся простор земли, он почувствовал всю свою малость.

Горы были огромны, синие гривы хребтов извилистой грядой тянулись к горизонту, уходили в небо, растворялись в нем. А посреди сине-зеленого ворса тайги на хребтах и в распадках, как на ковре, который под силу соткать разве что Аллаху, восседали, будто тысячелетние старцы, совсем уж поднебесные в не тающем вечном снегу пики гор – в чалме облаков, в блеске солнца. Державные владыки мира собрались на свой немой вековечный совет... Вертолет поднимался всё выше, аул давно уж превратился в горсть земли, исчез из глаз, но странно – чем круче вверх забирал вертолет, тем выше становились горы, а границы великого леса всё разрастались, им не было видно конца. Что человек в той гордой, величавой раме? Ничтожная, жалкая точка.

Дорога от Карагайлы до Аксу, которая в течение недели была причиной нервозности и казалась неодолимой и длинной, как путь на другой материк, отсюда, с высоты, выглядела пустяковым расстоянием, посильным даже для ягненка. Ну да, рукой подать – и только. Переваляли один горный кряж, мелькнула макушка горы Жындысай, с земли она недосыгаема, вертолет снова круто взял к северу, пересек Бухтарму и подался в сторону Катуня, шумно кипящей алтайской реки. Если следовать строго этимологии слова, сказать бы следовало точнее – «Катын», то есть «женщина», «баба». Здесь всё, что ни есть, начиная с реки, носит это название: Карагайлы-Катын – сосновая баба, Ордеги-Катын – баба на горе, Ойдагы-Катын – баба в низине и еще целый перечень «баб» во всевозможных проявлениях женского начала на земле и в жизни, словно бы в пику, в укор кичливой мужской сути. Нет, право, тут впору заступиться за нас, мужиков, подумал Бекет. И в самом деле, если вникнуть в живой разговорный язык в его естественном дыхании, как мы клянемся, ругаемся, шутим, то вся палитра наших сомнительных и даже беспощадных чувств относится к мужскому корню, и приходилось Бекету слышать, как его костерили на чем свет стоит, поминая родных и близких, живых и мертвых, но чтобы кто-то помянул при том, даже всуе, дурное слово о матери... здесь – ни-ни, здесь – табу.

В округе реки Катунь, глухой и дальней, издавна выращивали оленей. По обе стороны реки жили вперемежку казахи-найманы и алтайцы-ойманы, калмыки и кержаки – народец, может, беспородный, но уж никак не кроткий, кепку ломить

ни перед кем не привыкли, даром что жили на отшибе и со всем прочим миром не очень-то общались даже летом, не говоря уж про зиму. Друг с другом скотоводы встречались обычно среди лета, в июне, на дальнем джайляу, приглашали на новоселье, если оно предстояло, на свадьбу. В ноябре, когда гнали скот к местам зимовок, пути их снова пересекались на переправе Катуня. А дальше о житье-бытье друг друга – о том, кто в добром здравии, а кто не очень, можно было узнать, пожалуй, лишь по самочувствию небес да по тому, откуда дует ветер... В такой вот чересполосице мыслей Бекет и находился всё время полета, стараясь не дергаться понапрасну от резких поворотов «стрекозы», потому что в глаза Кылынхана он не улавливал тревоги, тот деловито поглядывал на тайгу, проплывающую внизу, на приборы, целеустремленно смотрел вперед, нос у него обострился, и казалось, он готов был просверлить стекло перед собой. Видать, для него такой полет был так же обычен, как визит к соседу, что живет через улицу.

Со снимка, аккуратно вырезанного из журнала и прилепленного рядом с лобовым стеклом, улыбались два военных летчика-майора, русский и казах. В казахе не так уж трудно было признать Кылынхана. Правда, на снимке был он лет на пятнадцать моложе, и сейчас по сравнению со своим портретом сильно сдал. Лицо запечатлело следы утрат и потерь, их давно было больше, чем приобретений. Понятно, что искал он целей высоких, иначе не рванул бы в небо, в летчики-вертолетчики. А что нашел – что удержал? А удержал штурвал, на котором сейчас его руки покоятся. Для кого-то штурвал тот мечта недостижимая, для кого-то – дело житейское, вроде возни у кухонной плиты. Суета сует у порога судьбы, сплошное томление духа.

Словом, проведя в небе четверть века сознательной жизни, Кылынхан ни возторгался судьбой своей, ни сокрушался о ней. Жизнь как жизнь, обычное дело... Войну он встретил двадцатилетним крепким парнем, про таких говорят – кровь с молоком. Всех четырех сыновей проводил старик Жанжигит на войну: «Все четверо едва ли вернетесь домой...» Он был суровым реалистом. «Пусть твоим щитом от пуль будет самолет, – так он напутствовал Кылынхана. – Хоть один из вас поднимется в небо над земной заварухой». Как в воду смотрел. Те трое не вернулись с фронта, Кылынхану пришлось одному за тех троих выполнять сыновний долг.

Курсант летного училища, воевать он начал через два года после начала войны, зато последний бой провел над Берлином. Война его сделала асом, и он еще лет десять бороздил воздушные просторы в форме военного летчика, летал на реактивных самолетах... И долетался. Ишь как стрекочет его воздушный лайнер! И карьеру сделал, а что – начальник аэропорта Карагайлы. Что поделаешь? Кто-то же должен быть рядом с немощным старым отцом. Так что кое от чего в этой жизни пришлось отказаться. Впрочем, мелкой тяжбы с судьбой он не затевал, на долю свою не жаловался. Наверное, разглядел он с небесной выси не только крутые излучины, вершины, пропасти и прочие прорехи на матушке нашей земле, но что-то еще открылось ему в житейской сути, и к жизни он относился философски. У иного погонщика ослов притязаний и гонору было, поди, куда больше, чем у этого небесного работяги. Конечно, чужая душа – потемки, и Бекет за те несколько дней, волей-неволей проведенных рядом с Кылынханом, многого не разглядел в его характере, но кое-что просек. Что на язык он куда как востер, палец в рот не клади – по локоть руку оттяпает. Даже сейчас за штурвалом ему все

нипочем, лишь повод дай, мигом отбреет, и всё это легко, небрежно – беспечен как мулла, что сидит на почтенном месте и в ус не дует.

А тайга внизу ворочалась будто живая, то бежит навстречу вертолету, то где-то сбоку распластается по склону горы. Это впечатление усиливалось тем, что дул сильный ветер, и верхушки деревьев шевелились, словно грива черного скакуна. Контуры дальних вершин затуманились, их стало окутывать марево. Когда вертолет при очередном вираже стал снижаться, Бекет увидел на овчине тайги ломкую тень «стрекозы». Тень неслась напропалую по хребтам и лощинам, и вспомнились слова песни студенческих лет:

О милая! Тень бабочки скользит
В душе моей. Но рыщет серым волком
Тоска. И не пойму я толком:
То сердце плачет или дождик моросит?..

Бекет начал даже напевать вполголоса...

– Катунь! – Бекет вздрогнул от голоса Кылынхана в наушниках, и тень бабочки вместе с рыщущим серым волком вмиг испарилась из памяти: – Катунь!.. Катунь!

– Я Катунь! – ответил чей-то хриплый голос. – Слушай, ты куда пропал? У нас тут оползни прошли. К кормам не пробиться. Ждем брикеты с воздуха как манну небесную. Вся надежда на тебя. Иначе передохнем с голоду.

– Понял.

– Слушай, тут льдом забились слияния Аксу с Бухтармой, и Корбику заливают половодьем. Надо льды подорвать динамитом, иначе – хана!

– Понял.

– Слушай, сука Кенеса оценилась! Восемь щенков...

– Да ну! Сука?

– А ты думал, жена!..

– Привет Кенесу! И его суке. Без меня смотрины не устраивать. Понял?

– Понял, понял... Толку что? Тебя к нам калачом не заманишь. Как Жаке?

– То есть?

– Ну, у него все в порядке? Так, может, заглянешь к нам? На часок приземлишься, а? Тут еще мяса пол-ляжки осталось...

– Не пудри мозги!.. Ты же завязал. Или что: пост твой кончился?

– А-а, завязывай, не завязывай... Мы тут постимся двенадцать месяцев в году.

– То-то я смотрю, ты шибко говорливый. Никак с утра стакашик оприходовал.

– Ну ты даешь!.. От тебя как от жены, ничего не скроешь. Та по телефону чует запах, этот – по рации.

– Интуиция, понял?.. Что еще у тебя?

– А что еще может быть у меня? Крутим мы тут хвосты коровам да бодаемся с женами, вот и вся наша жизнь. Не зря говорят: кто год пас овец, сам овцой сто лет будет. Не то что некоторые – парят в облаках...

– Ой, какие мы несчастные!.. Живем в лесу, молимся колесу. Ладно прибудняться! Дай, подсохнет маленько, тогда уж и загляну к вам. А так – ни то ни сё... Вроде похорон непутевого. Слышал про такого? От него при жизни толку не было и после смерти одни хлопоты... Пока!

Кто это, Бекет не спросил. Да что спрашивать? Кто бы ни был, а душа его распахнута навстречу другой душе, и жить от этого посреди оползней и ледовых заторов, наверное, легче. Бекет никогда ни с кем не дружил, ни с кем не водил

компаний, и даже такая вот шутильная перепалка с кем бы то ни было в его жизни исключена. Юмор не пронял его, а слова о похоронах непутевого – «от него при жизни толку не было и после смерти одни хлопоты» – больно царапнули душу. Слова эти он отчего-то отнес на свой счет, горько подумав, что, он – увы! – знает сам себе цену. Хоть какое-то, но утешение.

Кокиирим¹ – место слияния Аксу с Бухтармой – сущий омут шайтана, вода здесь клокочет круглый год. Но в теплую пору она клокочит себе сколько угодно, а вот в марте, когда дело идет к половодью, вода с ледовым салом, зажатая тисками торосов, вспухает как опара в тесной квашне и грозит немалыми бедами.

Сверху было видно, как полая вода, не уместаясь в русле Бухтармы, лезет вверх, оккупируя зимние тропки. Впрочем, на подступах к домикам Корбихи она вроде бы возвращается в лоно реки, но при этом так ревет и клокочет, что того и гляди разнесет на осколки узкое ущелье берегов. Сотня корбихинских дворов, задыхаясь в кипящем пару, жметя по закраинам ущелья, и прямо видно, как дрожит от страха.

– Жуть! – поежился Бекет.

– Ерунда! – Кылынхан смотрел так, будто он сейчас плюнет на жидкие дымки селения. – Лодырь на лодыре сидит и лодырем погоняет. До чего дожили, а! Может, за ними ночные горшки выносить? Тут дела-то на раз поссать – да не мужику, а бабе. Тот затор можно кочергой проткнуть. Так нет же, нет – ждут, когда кто-нибудь за них это сделает. Будь моя воля, ох я и ударил бы по их карману! Знаешь, сколько стоит один вылет вертолета?..

Все правильно, каждый чешет свою болячку. Слава богу, не я нанимал вертолет, подумал Бекет, не мне вести эти подсчеты. Вот сколько стоит кубометр леса, это, пожалуйста, это я отвечу. Почем знать тому же вертолетчику, что фунт соснового кругляка, пока его довезут, к примеру, в Казахстан из Сибири, обходится вдвое дороже фунта хлеба на магазинном прилавке?..

Кылынхан, сделав круг над Корбихой, повернул на Куйган. Он с неприязнью посмотрел на сытое лицо Бекета, который, споткнувшись на подсчетах кубометров и фунтов, стал клевать носом.

– Женат?

Бекет отрицательно покачал головой.

– Жаль. Будь она у тебя и будь она рядом, я доставил бы ей удовольствие. Я дал бы ей возможность искупнуться.

Ни один мускул не дрогнул на лице у Бекета. Они снова подлетали к Кокиириму.

– У меня великий соблазн: шаркнуть тебя в эту теплую ванну.

Любопытно, за что такая честь? Спрашивать Бекет не стал.

– А что? Ты брякнулся бы в омут, и мы без лишних затрат избавились бы от затора.

Омут действительно был заполнен до краев, он готов был пролиться. Упади в него сейчас – да не Бекет, какое там! – снежок, сосулька, градинка, и воды хлынут через верх, сметая все льды и заторы. Бекет представил себе, как он вываливается из дверцы вертолета, и вертолет, облегчившись, избавившись от дополнительного груза, как скорлупа взмывает вверх, а он, Бекет, летит вниз головой в это кипящее ледяное сало, ему стало дурно, его едва не стошнило. Вот скотина безрогая, мысленно ругнул он еще раз носатого.

¹ Голубой омут.

– Ты посматривай-ка на правую сторону, – сказал ему между тем Кылынхан, выражение лица у него было неприветливым, жестким, будто он и вправду хотел сбросить его за борт. – Если увидишь скотину, бог с ней, а если с человеком что случится, оба окажемся за решеткой.

Вокруг, сколько ни напрягай глаз, ни души. Обитатели тайги лишь весной высунут свой нос наружу. Не говоря о кержаках, они всю зиму на печи проводят, как медведи в берлоге, даже неумемные казахи, любители почаевничать в гостях и те, чтобы сходить в гости на другой конец аула, ни свет ни заря принимаются налаживать подводку и запрягают обычно до обеда, но, закрутившись по хозяйству, так и не успевают лошадь путем подвести к оглобле. Ну а после обеда – дай бог успеть к вечеру распрячь лошадку. Но почему знать об этом Бекету?

Лес вдоль берегов неподвижно стоял под фатой густого, крупными иглами инея, и каждая ветка прогнулась и напряглась, готовая распрячиться, освободившись от тяжести. В застывшей пене деревьев лишь курился туман над Бухтармой. Всё остальное, на чем бы ни остановился взгляд, оцепенело. Судя по разговору, свидетелем которого был Бекет, глотку затора они будут взрывать динамитом.

– Чем же еще? – ехидно засмеялся Кылынхан. – Динамит, только динамит! – и добавил присловье, какое, видать, тут в ходу. – Не будь динамита – пожар не случится, не будь динамита – баба не разродится. Говорят, стоит обыскать любого объездчика, у него в штанах на динамит наткнешься. Нет, без динамита мужику в тайге шага не сделать!

И, что-то высматривая внизу, Кылынхан принялся, как говорят, заливать баки: – Тут у объездчика недавно жена не могла разродиться. Врача, слушай, нет, а у нее схватки уже третий день. Что делать, что делать? Ну, он в отчаянии, как жажнет ящик динамита! И что ты думаешь? Мигом родила. Не-ет, что бы там ни говорили, а динамит в акушерстве незаменим. С динамитом можно сравнить только сардельку, да не в штанах у объездчика, нет. Ну ты, поди, в столице ел сардельки? У нас до них бабы жуть как охочи.

Бекет лишь пялил глаза, слушал весь этот бред, всю эту пошлость. – А мы сейчас, знаешь, что сделаем? Мы сделаем сардельки из Бухтармы. Динамит чепуха, динамит – это семечки. Вот если парочку снежных обвалов сейчас обрушить в Бухтарму, ты увидишь такой куырдак, какой не сделать, за резав верблюда. А, смекнул?

Бекет даже покраснел. Надо же быть таким бестолковым! Он мне уже четверть часа втолковывает, что дважды два – четыре, а я уверен, что он лясы точит. Но Кылынхану некогда было брать в расчет догадливость спутника, он в ту минуту, пожалуй, вовсе забыл про него. Как гриф, ринувшийся на добычу, вертолет стал стремительно падать вниз на дно узкого ущелья, где клочкотала зажатая в камни река. Бекет в ужасе зажмурился – омут летел ему навстречу, наледь надвигалась неотвратимо, как страшный рок. Когда он открыл глаза, падение еще не прекратилось, наледь всё так же неслась навстречу, но он увидел, как гремящее эхо распороло лес, и по крутым склонам ущелья, вспухая, рушится смерч белой пурги.

...Чаша омута зияла, короста льдов была сорвана, унесена течением, и вода в омуте казалась черной в оправе заснеженных берегов. А берег Бухтармы, будто срезанный гигантским ножом, обвалился. Пыль снежного оползня сверху и мягкие снежинки, поднимавшиеся снизу, окутали Корбиху трепетным сиянием, над поселком повисла зимняя радуга. Лесная непроходимая чаша, только что тонув-

шая в белой пене тяжелого инея, стояла совершенно голой. А «стрекоза», уже взмывавшая бог знает в какую высь, как бумажный змей на тоненькой ниточке звука, покорная штурвалу, уносились вдаль.

Кылынхан бросил прощальный взгляд на Корбиху и засмеялся:

– У тебя случалось в жизни так, что со стыда ты готов был провалиться сквозь землю? Сколько бы лет ни прошло, а как вспомнишь, тебя будто жаром обдаст. И ругаешь себя и казнишь...

«Что это он еще придумал?» – с опаской посмотрел Бекет на Кылынхана. И удивился: смеяться-то он смеялся, а глаза невеселы, в глазах тоска. И вправду, странным было это сочетание двух совершенно противоположных чувств на одном, Богом данном, лице... И Кылынхан подумал, скосив глаз на Бекета: значение слова стыд он знает, не может не знать, этот вежливый малый, стукнутый городом, а чувствовал ли он стыд своей собственной кожей, своим беззащитным затылком?..

– Скажем так: был ты первый парень на селе – ходил козырем. И вдруг опозорился. Да перед кем? Перед девушкой. Что тогда?

– Не знаю. Влюбился бы, наверно...

– Влюбился? – вроде бы Кылынхан не из тех, для кого любовь что-то значит.

С минуту он угрюмо смотрел своими глазами из-под густых бровей прямо перед собой, как видно, примеривая это слово к своей ситуации, потом гневно фыркнул:

– Любовь, любовь... Вы ее вконец истрепали. Все кому не лень про любовь рассуждают. Она у вас как... рабочая лошадь, как лопата, чтобы резать кизяк. Ну да, «мы любим родину, мы любим труд, и наши девушки всем нос утрут!» Еще давайте споем, как мы любим трактора, коров, лошадей и вождей... Но я не могу понять вот чего: когда поют стихи Абая, почему у меня горло перехватывает? Я не помню дословно, как там сказано у Абая, но, по сути, сказано вот что. Дороги любви неисповедимы, быть влюбленным – тайна, она неповторима. А мы тайну эту смешали с водой, чтоб утолять простую жажду.

Как только было произнесено имя Абая, Бекет и вовсе сник. Теперь этот носатый с помощью стихов сделает из меня дурака. Когда-то семь лет подряд чертов шелкоперышка Бескемпир-жирау доставал его Абаем и настолько задолбал стихами великого старца, что Бекет с тех пор вздрагивает, когда слышит имя Абай. Умеют же люди мысли великих использовать в своих шкурнических интересах! Хотя чего тут спорить, Абай, наверное, прав: к простому смертному великая болезнь любви не приходит дважды. Ну, не приходит, и ладно, чего же теперь – ложиться и помирать? Орлу парить в небесах, не мигая, смотреть на солнце, а вороне что делать прикажете? Ей тоже жить надо, одним глазом она смотрит на тучу, а другим – на навозную кучу.

Бекету было не до высоких материй, ему хотелось быстрее добраться до Аксу, избавиться от этой небесной тюрьмы и задать храповицкого. А Кылынхан... он оказался в плену своих воспоминаний. И сидя за штурвалом вертолета, не мог избавиться от призраков тех прошлых лет, и всё, что случилось с ним когда-то в Куйгане, встало перед ним как наяву...

...Была макушка лета, самая жаркая пора июля, когда овод становился величиной с тарантула. Кылынхан работал колхозным учетчиком и раз в день должен был навещать косарей на другом берегу реки, отвозить им айран¹ и кормежку,

¹ Кислое молоко.

замерять, сколько гектаров скошено и сколько тонн накошено. Конь ему не полагался, не дорос до коня, а два кожаных мешка айрана и два пуда ржаной муки пополам с отрубями на своем хребту не поволочь. Выход? Быка навьючить, кого же еще. С быком они на пару и курировали косарей. Солнце клонится к закату, они с быком спускаются к реке, к парому. Так вот спустились однажды, а паром на другом берегу, и паромщик горластый как в воду канул, он обычно сиднем сидит в обнимку с удочкой – башка непокрыта, лысина сверкает, смущая блеском само солнышко. Причем паромщик глухой как пень, можешь звать его – надсадишься, всё одно не услышит. То есть можешь обкладывать его любым отборным матом, всех предков его помянуть до семьдесят седьмого колена – не услышит, не отзовется, не пошлет, куда надо. Обычно поблизости где-нибудь ходила его крутобедрая дочь – в тугой кофточке, и ноги полные, как белорыбицы. Но, вот поди ж ты, её тоже не было. Тут сказать надо, что если паромщик был страховлюден – слоны бы шарахались от него, если б водились в этих краях! – то дочь его была (одарит же Господь, когда захочет!) на редкость хорошенькой. Может быть, дело в контрасте – может быть, шестнадцатилетняя дочка паромщика и не блистала красотой, но рядом с глухим, да лысым, да жутковатым папашей на нее невозможно было не смотреть. А Кылынхан видел ее на дне дважды, и видел не только ее, но и жадные, хищные взгляды парней, что пялились на полные девичьи ножки. Глухарь-паромщик, в общем-то невозмутимый и смиренный, при виде Кылынхана становился раздражительным, нервным, вскипал и даже ругался. Впрочем, самого Кылынхана он старался не задевать, но на его быке злость срывал. То, что бык ни при чем, понятно было всем, и дочке паромщика тоже. За быка она вступалась, вопреки суровости отца и людскому шушуканью, но самого Кылынхана на километр к себе не подпускала. Лишь таились в уголках ее глаз искорки доброго смеха, и была в том надежда, и был в том возможный со временем ответ.

А берег звенел в тот день от овода и комаров, и даже если бы они вусмерть загрызли Кылынхана, паромщик всё равно не объявился бы. А дочь он, видно, зверюга, запер, чтоб не могла она прийти на помощь парню. Что делать? Пришлось раздеваться и двигать через речку вплавь.

В те поры трусов еще не носили. Их не носили не только учетчики, но и начальники покрупнее, и даже местная интеллигенция – все обходились без трусов. А носили в ту пору кальсоны. И вот, решив, что кожаные мешки не утонут, если их надуть, разве что промокнут чуток, он привязал их покрепче к быку, снял верхнюю одежду, снял исподнее, приторочил одежонку к мешкам и толкнул быка в Бухтарму. Рогатая скотина до воды охоча, рябой бык как вошел в воду, так, считай, по прямой вышел из нее на другом берегу, а Кылынхана всё же унесло течением от переправы на порядочное расстояние. И вот, делать нечего, идет он берегом реки встреч быку, идет в чем мать родила, беззаботно мурлыча какую-то песню. И тут он слышит, кто-то ломит сквозь прибрежные кусты, причем ломит напрапалу. Оказалось, рябой бык с драгоценной поклажей. Глаза налиты кровью, ревет, брыкается, будто ему в пах нож воткнули. Эта ленивая тварь – дрын обломает, пока заставишь двигаться его быстрее! – обретаала сумасшедшую прыть, заслышав жужжание овода, сам медведь, встань на дороге, не остановит. Тут-то и екнуло сердце у парня: «так вот где таилась погибель моя!..»

Нет, не быка он испугался, а того, что гол как сокол, одежда же приторочена к взбесившейся вонючей твари. Не чуя ног, он кинулся к быку, но едва добежал до него, как тот, безумно выпучив глаза, задрав куцый хвост, ринулся прочь, осатанело мыча и помечая свой путь позорными лепехами страха. Понятно, что вместе с быком прочь унеслись надутые мешки, а главное – кальсоны Кылынхана. Что тут делать? А догонять быка, ловить его – чего же еще! И голый парень, как оглашенный, носился берегом реки, пытаясь отнять свои кальсоны у рябого быка, обезумевшего от укуса овода.

Раза два он его догонял, но напуганный оводом бык пугался и голого человека, принимая его то ли за волка, то ли еще за кого-то из той же компании. И Кылынхан уже было ухватывал рукой свои кальсоны, но то-то и оно, что привязаны они были на совесть, впопыхах отвязать их было невозможно, а бык, обернувшись на Кылынхана, увидев его наготу, обезумевал вконец, сбрасывал его в пыль и мчался дальше. Вот интересно, думал после очередного падения в пыль Кылынхан, интересно, в чью эту мудрую голову пришла плодотворная мысль – обрезать быкам хвосты. Ну как же, как же! Бык может махнуть хвостом и обмазать дерьмом твою рожу. Причем, как узнал он позже, хвосты обрезали быкам лишь в его родных Карагайлинских краях. Ах, как сгодился бы хвост тот быку (глядишь, ловчее было бы поймать быка). После того, как Кылынхан раза два обвалился в пыли, вид у него был еще тот, сам нечистый шарахнулся б в сторону, не говоря уж про быка, который теперь был напуган до смерти, если судить по тому, как он изредка, сбавляя бег, оглядывался на Кылынхана, преследующего его, произносил краткое протестующее «му!», дрожь пробегала по шкуре быка, и он, подобру-поздорову, мчал дальше, не чуя ни ног под собой, ни мешков на себе, что, подпрыгивая, били его по бокам.

Аул был в десяти километрах от Куйгана, причем вдоль всей дороги стояли заимки и даже села вроде Корбихи. Дорога узкая без всяких там своротов-поворотов, ни укрыться – ни притулиться: с одной стороны крутые скалы, с другой – река, так что идешь вперед, и будто в спину тебя неотступно толкает. Если кто выйдет навстречу, никак не разминешься. Да уж вышел бы кто-нибудь, что ли, глядишь, быка бы и остановил. Но, как назло, ни души. Лишь ровный шум Бухтармы да гулкое эхо от скал. Чуть погода за Кылынханом увязались две сороки – одна ведет, другая за нею следом деревья пересчитывает, и резким, но тревожным цокотом обе оповещают всех, мол, что-то тут не так. Он, было, шуганул их, пустив камнем, – без вас, дескать, тошно! – так они такой устроили трезвон, что явилось еще штуки четыре. Вот событие-то, а! Парня голого встретили. Шугануть бы и этих, да руки заняты: хоть от сорок, но срам он прикрывал ладошками. А и были б свободны руки, что толку. Тут ружьишко впору, быка пристрелить, сорок приструнить, так нету ведь ружья. А голыми руками сорокам глотку не заткнешь.

Комары покрыли его будто шерстью, тело зудилось от укусов и полыхало огнем. Он на ходу стирал с себя зудящую живую массу, был весь покрыт кровавым месивом и походил теперь уже на вурдалака, вышедшего из могилы. Он материл быка за его бычью дурь, материл себя за дурь человечью. И было искушение высказать в том же духе всё, что он думает про отца своего, но – не посмел. А вот учетчика, то есть самого себя, еще раз обложил до седьмого колена. Вот уж и вправду говорят: не зная броду, не суйся в воду. Куда тебя понесло? И вообще, зачем тебе всё это понадобилось? Ведь после окончания школы ты твердо решил

поступать – куда? В лётное училище. И поступал бы! Так нет, притормозили, дурака, на время. Сам председатель колхоза уговаривал: останься, мол, до осени, а уж потом...

Председателем был его отец.

Вдруг он заметил, что сороки исчезли. Рябой бык остановился как вкопанный и на кого-то лупал глазами, глядя перед собой. Вдали уже маячили крыши домов Корбихи. Навстречу кто-то шел, пока невидимый. И этому невидимому он крикнул:

– Эй! Быка держите!.. Быка...

Бык оглянулся на его голос и в ужасе рванул в кусты. Кылынхан глянул на дорогу и еще в большем ужасе сиганул вслед за быком. Из-за поворота показалась девушка.

То была дочь паромщика. Пропал!.. Кылынхан схватился за голову: лучше бы утонул, чем испытывать весь этот позор. Но утонуть он не мог, хотя река была рядом – от реки его отделяло пустое пространство дороги, оно сейчас для него было непреодолимым. И сладкие его мечты о девушке, и тайное его желание – все было растоптано тем унижительным положением, в которое он попал, душа была раздавлена, мир перед ним рассыпался в прах. Он умолял, чтобы разверзлась земля, но она не разверзлась, он не мог выдержать свой стыд, а земля – ей не привыкать, она всё стерпит, и его самого, и его стыд в придачу.

Девушка тоже с опаской глянула по сторонам. Солнце еще золотило выступ скалы, но здесь, в ущелье, уже было сумеречно и жутковато. Она дошла по дороге до куста облепихи, за который сиганул Кылынхан, и, будто ей кто-то шепнул на ухо, остановилась.

– Эй! – окликнула она. – Там кто есть?

– Есть...

А что ему оставалось делать?

– Чего спрятался? Выходи.

– Не могу.

– Почему?

– Голый я.

– Как это... голый?

– А так. Голый.

– Сдурел, что ли?

– Одежду бык забрал. Вот и сижу.

Девушка посмотрела на дорогу, на куст облепихи. Глянув на дорогу, хихикнула, глянув на куст облепихи, поехала.

– Что теперь делать будешь?

– Не знаю.

А знал бы, разве сидел бы в кустах? Хотя и она, когда б знала, что делать, не стала бы спрашивать. Так они и стояли по разные стороны куста облепихи: он с одной стороны, она – с другой. Стояли долго, пожалуй, времени хватило бы как раз подоить кобылицу. Всё время той возможной дойки Кылынхан был занят борьбой с комарами. Они облепили его будто кошма, и он ту кошму сдирает с себя ладонями. Тело нестерпимо жгло, оно распухало, вздувалось, как кишка, переполненная фаршем. Он готов был лопнуть, но не смел проронить и звука.

– Ну что? – спросила она.

– Ничего, – ответил он.

– Отвернись.

Он даже не спросил, зачем. Молча повиновался. Минуту спустя что-то стукнуло его по затылку. У ног его лежал не то ком, не то сверток. Оказалось, она сняла с себя трусы и, завернув в них камень, чтоб они долетели до цели, бросила Кылынхану в кусты.

– А что мне делать... с этим?

– На голову надеть! – отрезала она. – Он еще спрашивает...

Если б она кинула ему нож и сказала: «Зарежь себя», – он безропотно выполнил бы ее приказание. Оступаясь, не попадая ногами куда надо, он надел на себя обнову. И попросил ее: «Теперь не оборачивайся ты. А я пойду за тобой».

Он шел за ней следом, но не смотрел на нее, а смотрел на крыши поселка и очень тщательно следил за дорогой, за всеми ее поворотами-заворотами. На крыши он смотрел, боясь наткнуться взглядом невзначай на то, что было пугающе рядом, а за дорогой следил в надежде всё же выследить треклятого быка. Но бык, чтоб ему околеть, как провалился. Зато Корбиха приближалась. И девушка, – чертова кукла! – она и не думала стесняться, будто всё так и надо, будто они вместе прожили под одной крышей тысячу лет. Впрочем, слава Богу, она не оборачивалась. А сам он – то ли от того, что теперь уж гол, но не совсем, худо ли бедно прикрыл наиболее уязвимое место, то ли попросту освоился и чуток осмелел, но сковывавшие его до сих пор стыд и страх улетучились, и, стараясь ступать след в след, он топал за нею, чувствуя себя в полной безопасности.

Луч вечернего солнца, заплутавший в расщелинах скал, незаметно истаял. Прохладный ветерок, что слонялся в долине реки, поднял всех комаров из низины, и они, как на привязи, толклись над головой Кылынхана. Лес подступил к реке, дорога шла в гору и между деревьями, узкая полоска неба тянулась поверху, цепляя маковки сосен и листвяка. Он шел, не чуя ног, видя лишь ее затылок, и то, что она была рядом, словно бы ограждало его от всех напастей и страхов.

– Идешь? – спросила она, не оборачиваясь.

– Иду.

– Ты хоть голос подавай.

– Как это?

– Ну что б я знала, что ты не отстал.

А что говорить-то?... Он бы сказал, если б смел, как она ему дорога и желанна. Но если раньше он к ней и приблизиться не помышлял, то сейчас и подавно, хоть она и рядом, но недосыгаема для него как никогда. Он смотрел на ступни ее ног, что утопали в дорожной пыли и оставляли аккуратный след, не сравнить же ее следы с отпечатками его медвежьих лап. Он сам готов был обратиться в пыль от нежности и ласки, они переполняли всё его существо и были так огромны, что он не смог бы найти слова, в которые чувства его уместились бы.

Сперва потянуло дымом из труб забытого богом аула, где жили попережку казахи и кержаки. К запаху кизячного дыма всегда примешан запах борща, и эта смесь куснула Кылынхана за нос. Только что он готов был провалиться сквозь землю, встретив девушку, а сейчас, поняв, что вот-вот расстанется с ней, он почувствовал, что мир без нее опустеет. Она затылком ощутила его тоску и тревогу, и сразу же остановилась.

– Идешь? – спросила всё так же не оборачиваясь.

– Иду... Куда же я денусь?..

Не дай бог она обернется, увидит его и, как тот рябой бык, кинется прочь. Она обернулась. Ни испуга в лице, ни насмешки – лишь та загадочная, излучающая свет полуулыбка, какая всегда появлялась в уголках ее глаз, когда она смотрела на Кылынхана:

– Увидит нас отец вдвоем – прибьет.

Ну, если и прибьет, то меня, подумал он. И задал в общем-то глупый вопрос:

– Что делать-то теперь?

– Что делать?.. Дождаться темноты, наверное. Комары не съели – волки не загрызут.

Она пошла себе дальше, а он остался стоять, разинув рот и выпучив глаза, как спнулая рыба на льду. Но, отойдя на два-три шага, она приостановилась:

– Пока я хожу, умойся.

Еще бы! Такую морду леший увидит – в обморок упадет... «Пока я хожу», – эти слова вошли ему в сердце, и сердцу надо было уцелеть при том. «Родненькая!» – сказалось помимо его воли, но она не услышала, а он невольно покраснел от этого признания и встревоженно оглянулся: не слышал ли кто? Но кроме лешего слышать было некому, а леший, если даже имел неосторожность появиться поблизости, давно уже сбежал. Эхо Бухтармы устало билось о скалы и увязало в темнеющем небе. И когда он, измотанный вконец, свалился у кромки воды, то, казалось, и эхо умолкло...

«Эй, ты где?» – услышал он и вскочил как ужаленный. Задремал, наверное. Стал оглядываться вокруг. Вроде бы никого. Во сне, наверное, послышалось. Но то ли в тревоге, то ли в радости, его стал бить озноб, близкие огни Корбихи отплясывали в его глазах, и непонятно было, то ли они валяются с неба, то ли выпрыгивают из-под земли. Потом он увидел силуэт человека, тот надвигался на него, прутом лозы сбивая ночную росу с высоких трав, ветвей деревьев и кустов.

– Пропал, наверное...

– Пропал! – выдохнул он сокрушенно и радостно.

Она приблизилась к нему и набросила ему на плечи что-то мягкое и теплое как пух, и в этой мягкости и в том тепле почудились ему и нежность, и ласковость ее девичьих рук. Это была пуховая шаль.

– Теперь иди, – сказала она. – Не заблудишься?

– А что делать с этими... твоими?..

– Ой, и вправду! – воскликнула она с горькой усмешкой. – Что же с ними делать? Вы все... все так и рыщете глазами: мол, что у нее там, под юбкой? А и делов-то – трусы вот эти. Ты походи в них, походи. Я тебе их одолжу. Долг невелик. Когда-нибудь вернешь...

Обиделся? Нет, тут всё сложнее – и горше, и глубже. И, прощаясь с этой памятной извилистой дорогой вдоль реки, прощаясь с девичьей фигуркой – она тает в сумерках и растворяется в них, он шептал сам себе, той жизни, что была впереди: «Родненькая, – шептал он, – жив буду, не забуду твоей доброты. Должник я твой, в долгу неоплатном...»

А долг свой вернуть он не смог. Год спустя приключилась война. Кылынхан не погиб, уцелел. Ах, как ему хотелось вернуть свой долг! Да видно, не судьба. Так и остался он на веки вечные должником у дочери паромщика. Каждый раз, когда он пролетает над синим омутом Куйгана, над крышами Корбихи, ему воспомина-

ется тот неоплаченный долг, и сердце гложет тоска, от которой надо б избавиться и которую надо беречь в самом заветном уголке души. Хотя откуда знать об этом главному лесничему – да и зачем ему знать? Душа человеческая – это вам не деловая древесина, душу ни гектарами, ни кубометрами не исчислишь...

Кылынхан еще разок облетел голое ущелье Жындысыя и ссадил разморенного полетом Бекета в Аксу.

Глава вторая

1

Лесхоз «Аксу», лет сорок назад присоседившийся к оленеводческому совхозу, а точнее – к одному из его отделений, не очень-то разжился за годы житья-бытья своего: контора, гараж, пимокатка да пилорама, пять-шесть небольших цехов, чтобы переработать, так сказать, дары леса; сотня дворов, три коттеджа с общим туалетом, причем за полкилометра от них, так что, коли нужда подопрет, бежать надо загодя и на рысях, чтобы не потерять чего дорогой – ну, и еще общежитие. Народ здесь тихий, смиренный – тут и кочет не квохчет, и пес не рычит. Лишь молоток по наковальне в прокопченной кузнице, что на выезде в поселок, с рассвета до темна долбит окрестную тишину, причем долбежка порой настолько оглушительна, что кажется, небо над поселком не выдержит – треснет, или лопнут, опять же не выдержав, перепонки в ушах. То ли по неловкости, обычной для приезжего, который держится особняком, то ли по капризу случая, контора с примкнувшими к ней халупами обосновалась в сторонке от старожилов, на том берегу, за рекой.

Здесь, в глубинке, в горах, зима теплая, лето прохладное – благодатное лето, как на джайляу, а вот весна – гнилая, ранняя, с дрянным подтаявшим снежком, да и тот держится лишь в тени елей, и распутица превращает в кисельную реку единственную проезжую дорогу, которая тут, в Аксу, подыхает, кончается, дальше пути для колесного транспорта нет. Расквашенная грязь исходит паром, и в воздухе витает запах прелой прошлогодней травы. Откуда-то снизу – из преисподней, что ли? – с насадным воем объявился лесовоз. Расхристанный, старый, заляпанный грязью, он как бы споткнулся у кузницы, замер, воняя бензином на весь аул. Бекет вроде плотно закрыл окно, но едкий дым из выхлопной трубы обшарпанного лесовоза просочился в контору, повис в ней синим маревом, вызывая тошноту и безудержное чихание.

Женщины из бухгалтерии, видно, прочно усвоили истину, что молчание – золото, оно у них было, пожалуй, высшей пробы. Сама главбух внесла ему кружку чая, одарила словечком: «С малиной», – и, пятясь, вышла, оставив за собой отчего-то запах не малины, а свежего кобыльего молока. Наверное, кормящая мать. Ну да, потому, поди, такая ядреная и грудастая. Уж какая она там хозяйка, об этом судить ее мужу, но чай она готовит наваристый, крепкий.

Эх, жизнь, дорожная-таежная!.. Шесть дней торчал в райцентре, клял судьбу, что улететь не может, спешил сюда как на пожар, а спрашивается – зачем спешил? Там хоть видимость жизни была. А здесь? Крыша над головой чужая, народ – чужой, даже кресло под задницей с непривычки необжитое, холодное – чужое кресло. А душа? Освоится она здесь или нет, на воде вилами писано. В таком вот томлении духа сидел он, рассеянно в окно поглядывал и не заметил даже, как

чей-то сапог ступил на половицу кабинета, и уж когда зашаркали, загромыхали сапожищи, он разглядел того, на ком они были. Кривоносый мужичонка напялил на лоб малахай и сверлил его взглядом своих колючих, цепких глаз:

– Ты, что ль, тот важный начальник? Ну что, с неба спустился?

Лицо мягкое-пермятое, в каждой морщине издевка и смех, от таких жди любого подвоха. Всё правильно, подумалось Бекету, к нашему берегу хорошее дерьмо не подплывает – в паршивый рукав и рука лезет вшивая. И, ничтоже сумняшеся Бекет на вопрос тоже рубанул вопросом:

– Вы что – крещеный?

– Не совсем. Не подыскал пока, на кого молиться.

– Оно и видно. А то бы знали, что кроме Христа, начальства с неба не спускалось. Я, как и вы, топчу эту грешную землю.

– Угу, тот самый, – удовлетворенно крикнул кривоносый и, будто перед ним не человек живой, а так – пустое место, повлекся к дверям, бурча себе под нос: – В этом ауле одни скупердяи, прошлогоднего снега не выпросишь. Хоть с голоду сдохни, никто к себе не зазовет. От ворот поворот, и ступай несолоно хлебавши...

– А кто вам, собственно, нужен?

– Я же сказал – кто.

– А если точнее?

– Так называемый главный лесничий. Черт бы его побрал!..

– Ну-у, тогда это я.

– Да ты, ты – кто ж еще? – Кривоносый, одно плечо у него было задрано, другое приспущено, будто он прятал в кармане пиджака бутылку, вернулся, не спеша установил табурет перед Бекетом, основательно уселся, будто собирался объявить сидячую забастовку. – У нас таких наглых начальников, сиди он хоть на троне, хоть за двумя дубовыми дверьми... но чтобы они себе позволили нанять вертолет! Таких наглых у нас еще не было.

Интересно, чего он ко мне вяжется, этот скрипучий старик, похожий на пустобрюхую борзую или на тощую волчицу, готовую растерзать кого ни попадая? А может, это стул под ним скрипит? Нет, но одно их двух – или сам старик, или стул под ним – кто-то из них вот-вот развалится. Когда Бекет в очередной раз вскинул взгляд на пришельца, то сам себе же и возразил: какой же он старик? Ладно, кривой нос, бог с ним, но лицо не такое уж и морщинистое, как показалось в первую минуту, и в бородище, густой будто кошма, она одолела его физиономию от висков до кадыка, ни одного серебряного волоса: нет, ему до стариков еще далече, лет сорок, не больше. Лицо, прокопченное ветром и солнцем, как у бедуина или колдуна. Да и в голосе хрипотца, какую человек зарабатывает, находясь и в стужу, и в жару вне помещения. Лесник или объездчик?..

– Что – нос мой не нравится? А с лица воду не пить. – Взгляд у него холодный, насмешливый, губы иронично подергивались, словно клавиши рояля, задающие тон разговору. – Не бойся, это не от дурной болезни. С лошади я упал, еще в детстве. – И опять лицо его переменялось, и уже словно бы другой человек сидел перед Бекетом. – Коня объезжал, а конь дикий попался. Ну и... хрящи носа я немного повредил. Нос, он, конечно, отвлекает – скрывает недостатки нашей морды. Слушай, а что было бы, если б конь долбанул меня сильнее и нос провалился бы?..

Очень интересная тема для разговора.

– А по какому делу вы пришли?

– О деле успеется, – он подал кончики пальцев. – Асхат. Фамилию опускаю, она тебе не нужна. Егерей народ терпеть не может, и начальству от них беспокойство одно. Понял, какой родней тебе прихожусь? Гроза лесов! Браконьер, конечно, до зубов вооружен, но я его прижимаю инструкцией. А если что, ружьем отмахнуться могу – стрелять, правда, мне не положено. Ну, а коли пристукнут, думаю, никто не спохватится. Живой я никому не нужен, а мертвый тем более. Ну, как характеристика, сойдет?

– Яркая.

– Да? Ну спасибо, обычно плюются. Прошу прощения, – сказал он и церемонно достал пачку сигарет. – Есть привычка дурная: огонь зубами прикусывать. Надеюсь, не возражаете?

– Значит, будем называть вас Асеке¹?

– Хочешь – называй, не хочешь – как хочешь.

И он раскрыл пачку «Шипки» – причем не простецкую пачку, какую можно купить в заштатном сельпо, а в твердой коробке, почти недоступной сегодня. Сигарету он будто иглу вогнал между указательным и средним пальцами, пожелтевшими от табака, изящно прикурил и пустил красивые кольца дыма. Бекету приходилось видеть, как козы выходят утром из загона, а вслед за ними идет козел, но прежде чем ступить за порог начинающегося дня, он замедляет шаг, и закрыв глаза, выставив морду вперед, жадно ловит запахи мира, запахи стада, и ноздри его хищно выгнуты, они чутко дрожат, улавливая ароматы цветочной пыльцы и томительные сигналы созревшей плоти, готовой зачать новую жизнь. И этот так же хищно потянул своим носом за синими кольцами дыма, готовый как бы вобрать их назад. Щелкнув пальцами, выставил полусгоревшую спичку на стол, закинул ногу на ногу и, будто пришел он сюда лишь для того, чтобы курить, оцепенел в блаженстве. Остро, как изогнутый сук, торчала коленная чашечка, нога в просторном голенище резинового сапога напоминала иглу, что воткнули в наперсток. И весь он будто обглоданная кость, с которой, как ни тщишь, уже не соскребешь мяса. Между прочим, правое плечо что-то очень уж резко приподнято. С чего бы это?

– Ребра-то все целы? – поддел его Бекет вопросом, возможно, бестактным.

– Не ребра – ключица, – хмыкнул тот, ничуть не обижаясь. – А всё кони, кони... Ах, кони, умереть готов ради них! А ребра... что ребра? Нам ли жалеть своих ребер! Не из ребра ли мужчины Господь Бог сотворил в свое время женщину, и ничего – живем, не чувствуя изъяна...

Ну, положим, тебе самому твои мослы сгодятся, подумал Бекет, но вслух говорить ничего не стал – с этим лучше не связываться в разговоры, он, вишь, расселся как, показывая видом своим, что плевать хотел на всех и вся. Поди, выпивоха и картежник, добра от такого не жди.

– Эти скупердяи ни в жизнь к себе не пригласят. А если невзначай зайдешь, так у них казан на огне будет стоять не пять часов – пять месяцев. Ничего-о, посидим, его величество зад у нас натренирован.

Если ты такой блюстителъ обычаяв, думал Бекет, так надо назваться. Из какого ты роду-племени. Нет, не назвался. Поскольку он катит бочку на местных, он явно пришлый. Такой попьет воды из твоего колодца, в глаза скажет «спасибо», а за глаза в твой же колодец и плюнет.

¹ Уважительное от имени Асхат.

– Сидеть – сидите, я вас не гоню. Но дело-то у вас какое?

– Шибко ты деловой. О деле говорят за дастарханом. Пойдем к тебе, потолкуем.

А нет – ко мне прошу милости.

– Я бы рад вас пригласить, но – некуда. А к вам... если настаиваете, я могу.

Ваш аул недалеко?

– Далеко ли, близко ли, конь копыт не собьет. Каких-нибудь верст двадцать...

с гаком. Или тридцать.

Да он издевается! Вот уж кто, будь в его власти, сгонял бы на самолете, чтоб только чашку чая выхлебать...

Гремя ведром и шаркая тряпкой, вошла уборщица. И в том громоуханье и шварканье Бекету почудилась тоже издевка над собой. Чем он не угодил им? Кто ни увидит его, всяк по-своему хочет уесть. Ладно...

– Моя хата – вон та, – указал подбородком Бекет на один из коттеджей, что как раз напротив окна, через дорогу. – А насчет казана... виноват, еще не обзавелся.

Услышав слово «хата», которое тут явно было не в ходу, кривоносый навострил ухо, слово прозвучало для него как пароль, он по-новому глянул на Бекета:

– По-моему, и я обосновался в одной из этих хат, – он уже высосал свою сигарету до упора, до кончиков пальцев, оставалось ему только пальцы сосать.

Сказать, что в Аксу люди ходят по грязи, было бы неверным – здесь плавают по ней. А красные «саламандры» Бекета были явно не приспособлены для такого плавания. И кривоносый, иронично хмыкнув, сел на корточки, подставив главному лесничему свою тощую спину:

– Садись, подвезу. Да не бойся, не скину, я смирный. На таких, как я, только и ездить.

Вцепился как репей! И еще издевается. Нет, но мне, громадному мужику, это мини-пугало подставляет свой горбик! Пусть только вякнет еще что-нибудь, так и двину под зад саламандрой... Но тот вдруг оставил Бекета в покое и заорал проходящему мимо аборигену, вернее, плывущему по грязи:

– Слышь, а сколько твое «здравствуй» стоит? Давай куплю, – и вытащил из кармана кошелек.

– Бери по дешевке, за рубль отдам. Здравствуй, Асеке!

Тот порылся в кошельке и, не найдя рубля, вытащил пятерку. А этот нахал, ничуть не смутившись, сграбастал деньги и сдачи дал – четыре мятых-перемятых рублика.

Весь день без перерыва твякавшая кузница вдруг заткнулась, и в наступившей тишине по узким проулкам аула разбрелись мараловоды верхом на своих подкованных и странно похожих друг на друга черногривых саврасках.

– Я приветствую вас, Асеке, – поклонился проезжающий мимо всадник.

Но ему, что говорится, дали от ворот поворот:

– Можно подумать, у тебя приветов этих через край. Рубль пожалел.

– Асеке! Какая муха вас укусила? Вы что – меня за человека не считаете?

– Что ты, что ты! Куда уж нам уж...

Голос егеря источал яд, в нем сквозили ледяные нотки. Но и тот, с которым он сцепился, был тоже парень не промах, поля боя уступать не собирался. Бог знает, чем закончилась бы эта стычка, но кривоносому, видно, было недосуг, он просто дожал ситуацию, зашипев на джигита:

– Ну что ты уставился, как баран на новые ворота? Неясно, да? Слезай быстрее!

Вместо того чтобы обидеться, у джигита – рот до ушей. Будто не облаял его Асеке, а бальзам пролил на душу. Без звука спешил, уступив коня кривоносому.

Подмышки посадить Бекета в седло Асеке посчитал неудобным, подставлять ладонь под саламандры – руки неохота пачкать, он просто посадил его под зад, но средним пальцем при этом как бы невзначай ткнул грешную дыру. Бекет зло обернулся, но у того и мускул на лице не дрогнул:

– Валяй, поехали! – и намотал на руку хвост коня. – Н-но, родимый.

Можно было подумать, что путь им предстоял в край аула, но оказалось, что надо было лишь перейти через улицу. Конь тут же ткнулся мордой в коттедж, кривоносый остановил саврасого, дернув за хвост:

– Тпру, приехали. Хорошо, ветерок был попутный.

Бекет, как оплеванный, спрыгнул с седла. Ему казалось, будто изо всех окон, изо всех щелей и по-над заборами на него смотрят люди, тычут пальцами и даятся от смеха. В сердцах он хлопнул калиткой. Глаза б мои не видели этого шайтана кривоносого!..

2

Некто бледный и немощный спал на полу, подоткнув под бок фуфайку, задубевшую от грязи, а под голову – сурочью ушанку в сплошных проплешинах, тоже настолько старую и грязную, будто он подобрал ее на помойке. Диван с аккуратно заправленной постелью был рядом, но то ли сил у человека не хватило взобраться на лежак, то ли не решился он осквернить постель своей неряшливой персоной. Так или иначе, он растянулся на полу и спал как убитый. У ног его стояли ветхие пожульканные сапоги, поверх которых высился ворох грязных портянок. Эти сапоги с портянками особо возмутили Асеке, и он пинком вышвырнул их в коридор. Наверное, спавшему заложило нос, потому как дышал он по-рыбьи, разинув рот.

– Ты гляди, какой он, однако, культурный! – фыркнул Асеке и деловито воткнул окурочек сигареты промеж длинных пальцев ног, тоже давно немых и с ногтями, как у орла. – Всё одно пепельницы нет... Ну да хрен с ним! Я ведь как ехал из Жындысая? Через Жаманай. Ну и зашел в дом Патла в Котанагаше. А там сидит Матпуса, рядом с ним – слепой Апан, и этот вот проститутка Ситан. Ну и загудели! Ох и загудели!.. До сих пор, слушай, не верю, что уцелел. А Баха с Вагнером перевернули полностью. По пути я мог, конечно, его пристрелить, и пристрелил бы, окажись рядом хоть один свидетель.

Что мог понять из этой речи Бекет? А только одно – что замертво спящую рыжую падаль зовут Ситан. Это первое. И второе: этого бедолагу готовы были пристрелить – настолько он провинился. Вот только в чем, пока неясно.

И тут спящий Ситан взревел как бык:

– Змея! – Он вскочил на облезлое кресло, вопя: – Змея ужалила!..

– У вас что, сударь, белая горячка? О боги! На дворе снег, а он от змеи шарается, – и чтобы охладить разыгравшееся воображение Ситана, Асеке набрал в рот воды из графина и прыснул в лицо паникера. Тот слегка очухался, диковато посмотрел на Бекета: этот, мол, откуда взялся и кто таков? Он даже не понял, что «кукусил» его за ногу дымившийся на полу окурочек.

Асеке между тем представлял Бекету «укушенного»:

– Видок у него еще тот, да и экипировка не совсем соответствует стандарту, но парень он что надо, таких тут – раз-два и обчелся, – и, открыв дверь, прокричал в коридор: – Ау! Где юные девы этого дома?

Ситан был конопат, ресницы рыжие, один глаз косил, новичком он себя здесь не чувствовал, и по тому, как, сложив ноги калачиком, он со вздохом оперся о валик дивана, было видно, что с этим валиком он уже сроднился и если оторвется от него, то не сегодня. Желтое отечное лицо и круги под глазами говорили о том, что у этого доброго молодца и почки барахлят, и печень неважная, и желудок оставляет желать лучшего. Бог ты мой, и это здесь, в глухих, почти что райских местах, где природа еще сохранила, быть может, последние капли живительной силы, к которым человек может приникнуть, потеснив законных обитателей тайги? Нет, ну это надо суметь в здешнем раю набраться стольких-то болячек!

В двери вошли две старухи, они о чем-то препирались меж собой, но, увидев Бекета, приумолкли. Впрочем, их внимание тут же привлек Ситан:

– О-о, кого мы видим! Деверь наш, щеголь наш, красавец наш писанный...

Если это деверь долговязой и светлоликой старухи (на щеке ее как знак особого отличия красовалась родинка величиной с горошину), то где-то рядом должен быть и муж ее, брат рыжеволосого «щеголя»? С этим безмолвным вопросом Бекет вскинул глаза на конопатое лицо Ситана, но тот никак не отозвался на слова старухи, а вместо приветствия запустил себе под мышки длинные, в цыпках руки, чесанул два-три раза и, зевнув, уставился в окно. Старухи были странными – их можно было назвать и старухами, и молодками: на их обличье лежала печать девичьей робости и кроткой теплоты, и скорбные морщины возраста казались маской, которую время насильно надело на молодые лица. То был безжалостный и грустный портрет вчерашней войны. И то, как их позвал Асеке – «юные девы» – было, наверное, почти что истиной, разве что слово «юные» заменить словом «старые».

– Ну что, невесты, женихи-то целы? – шутки Асеке не отличались тонкостью.

– Целы! Целы! Два хромых да три слепца... От войны их Господь уберет, так неужто теперь в расход пустит? – Светлоликая старуха открыла чугунные дверцы печи и гневно, будто ее оскорбили, начала шуровать кочергой, с силой ударив недогоревшее полешко, двинув его глубже в глотку огня. На пол посыпались малиновые горошины угольков.

Асеке проследил, как она замела угольки в совок и тоже бросила в топку.

– Ну, так и быть. Пускай живут. Вы уж с ними поаккуратней, а то... инфаркт схватить могут.

– Остряк! – сказала рыжая плотная старуха, ее подбородок венчали нежные складки, как на пухленькой детской руке. – Я в двадцать лет к себе мужика не подпустила, а теперь он мне задаром не нужен.

– Вот-вот, недотрога! – Он был неумолим. – В двадцать лет, поди, не одного сжила со свету.

– Помолчал бы, а? Война их со свету сжила. А нам на роду написано лишь для намаза подол расстилать. Что – съел? А тебе прям так и хочется, чтоб я ухватила за мотню какого-нибудь сморчка! – отбрила она острослова. – Что носом крутишь? Говори, зачем звал?

– А при чем тут мой нос? Что вы все за него цепляетесь? – он с видом оскорбленной невинности сунул ноги в старушечьи галоши и, наступая на запятки,

задом пхнул отсыревшие двери. – Ишь, разошлась! Еще нос мой не нравится... Не смогла охомутать ни слепого, ни хромого, а туда же!..

Видать, такие перепалки здесь не были в диковинку, и злой язык вредного егеря был чем-то вроде его кривого носа, на который всем было начхать, потому что старухи как ни в чем не бывало замели мусор с пола, наполнили водой прокопченный алюминиевый чайник, поставили его на плиту. К старухам этим с утра пораньше привел Бекета главный инженер лесхоза Сан Саньч, вручил новоселам их заботам, и за минувшие полдня Беке успел привыкнуть к ним, будто знал их сто лет. Старухи были повелительницами и рабынями этих трех коттеджей, встречали-проводжали гостей, хранили пять-шесть пиалушек в шкафу и чайничек с отбитым носом, топили, стряпали, а если кто-то занедужит, то, деваться некуда, лечили. Несли они в себе ненавязчивое материнское начало. Бекет уже десять лет мотался по белу свету, о матери не вспоминал. Видать, надобы не было. И сейчас, глядя на этих женщин, он невольно подумал о ней и никакого сходства не обнаружил. Жила она в холе и воле, имела всё, чего может душа пожелать, но вечно была недовольной, всё было не по ней, всё было не так да не эдак. Задерганная собственными капризами женщина, занятая сама собой, все вокруг ей обязаны что-то, а вот она – никому, ничего. И Бекету стало неловко перед этими обездоленными, но ведь им и на ум не придет потребовать компенсации за свои беды и вообще – потребовать для себя чего бы то ни было. Есть же такие люди на свете, они лишь ликом своим отогреют твою озябшую душу. И захотелось Бекету хоть как-то, хоть чем-то утешить их, но слов, несущих добро, он не знал, сказать их не сумел бы, да и не решился бы, пожалуй. А ну не так поймут? «И зачем это кривоносый притащил меня сюда? И что это я как шнурок плетусь за каждой собакой, какая меня за собой ни потянет?..»

И Ситан клевал носом. Он хронически впадал в дрему, как беременная женщина, которая спит на ходу. И лишь когда запотевшая сосновая дверь с грохотом распахнулась – ее пинком открыл кривоносый – Ситан очнулся в испуге. Была тут какая-то закавыка – кривоносого он боялся как погибели.

А тот зашел в комнату, волоча за собой окровавленный холстяной мешок. Он доволлок его до печи и вытащил голову годовалого лосенка, свежееопаленную, с бугорками едва наметившихся рогов.

– Чур меня, чур! – отпрянула в страхе рыжая старуха.

– Ты-то что испугалась? Можно подумать, тебя оштрафуют! – успокоил ее Асеке. – Если уж будут штрафовать, так его – деверя твоего, раскрасавчика. Он, считай, тридцать километров пёр эту ношу. У самого Матпусы чуть ли не рта вырвал.

– Нет-нет! От греха подальше, унеси назад своему Матпусе...

Старухи вряд ли взяли в толк, кто такой Матпуса, да и не в Матпусе дело, а в том, что голова лосенка – явный криминал, и старухи шарахнулись от мешка, как будто там лежала кобра. Асеке как ни в чем не бывало ткнул в лосиную голову нож и подтолкнул ее к ногам старух, будто принес причитающуюся им долю согыма¹.

А не втянет ли он меня в какую-нибудь историю, подумал Бекет, ишь – прилип как репей, не отвязешься. Он посмотрел в лицо рыжего раскрасавчика деверя, пытаясь уловить тревогу или прочесть хоть какой-то ответ на свои опасения, но тот лишь полусонно лупал глазами. Старухи между тем как замороженные

¹ Мясо зимнего забоя.

установились на полевую сумку кривоносого, которую тот открывал не спеша и в которой, как показалось Бекету, кроме актов и штрафных квитанций ни денег, ни прочих ценных бумаг отродясь не бывало, она вечно болталась, притороченная к седлу, грозно напоминая согражданам-таежникам, что возмездие неотвратимо, метко прозванная кем-то «сумкой бед». Старухи настороженно следили за каждым движением егеря, каждым его жестом, будто он вытащит сейчас из сумки по меньшей мере гремучую змею. Асеке же, вытянув губы, насвистывал что-то мудреное. Он блаженствовал.

– Вы голову лосенка видели? – пытал он старух. – Видели, не отпирайтесь. Теперь вы ее хоть собакам выбросьте, хоть верните самому лосенку, но... Вы – свидетели! – он ткнул в них пальцем, и старухи вздрогнули. – И пока вы не подпишетесь под этой бумагой как... свидетели...

Рыжая старуха первой вышла из транса и, прокудахтав: «У меня же там самовар!» – хотела увильнуть, но Асеке мановением указательного пальца пригвоздил ее к месту.

– Самовар не убежит. И этот, и следующий за ним, мы до вечера не один самовар опрокинем...

– Хоть режь меня, хоть отдавай в энквэдэ, не подпишу! – завибрировала старуха. – Когда-то вот она командовала сельсоветом, а невестка... с голоду сдыхала и собрала на поле килограмм колосков. Так вот она заставила меня подписать акт на невестку. До сих пор не могу простить себе этого!..

– Уймись! Там колоски, а тут – голова! Лося! И потом... никто никого под суд не отдаст и отдавать не собирается. – Он еще раз перевернул голову сохатого. Казалось, из глаз лосенка текут слезы. – И всё-таки... раздери пополам и положи в казан. Возможно, его дух нас и проклянет, но чем собаке выбрасывать, пусть лучше гость поглотит косточку.

– И долго ты нас актами пугать будешь? Господи! Когда на мужа черная бумага пришла, и то не померли, выжили... Ладно, где твой акт? – и светлолицая старуха вырвала из рук егеря чертов бланк, что так напугал невестку. Казалось, она разорвет бумаженцию в клочья. Ан нет, принялась внимательно читать – с одной стороны, с другой. С великой осторожностью, нежностью даже, сняла очки, упрятала их в чехол, а чехол в карман камзола положила и вроде бы успокоилась. С удивлением, как бы увидела впервые, посмотрела на раскрасавчика деверя, что замертво дрыхнул, сидя в плешивом кресле, потом остановила долгий взгляд на кривоносом.

– Это... правда?

– Нет, это выдумка. Это он удовольствия ради тащился черт-те откуда!

Тут обрела второе дыхание и рыжая старуха.

– А кроме головы в мешке ничего больше нет?

– Что, мало, да? Там в сенцах еще один мешок. Пошарь в нем. Думаю, найдёшь, что надо... Чтобы гость не обиделся.

– А вы его не избили? – светлолицая старуха в сомнении разглядывала Ситана. – Он никогда так не спал. Ну-ка, ткни его!

– Мы? Его? Избили? – возмутился Асеке. – Кто его пальцем тронет, тот дня не проживет. Он кайф ловит. Он на ночь, знаешь, сколько выхлебал эликсира? – и кривоносый еще больше скривил свой нос. – Ситеке!.. Ваше сиятельство! Никайше просим прощения, но поднимите ваше чело. Дайте возможность лицезреть вашим подданным вашу светлость.

Он ткнул указательным пальцем спящего в бок, ткнул без церемоний, и Ситеке, подскочив, чуть не слетел с кресла. Тыльной стороной ладони он вытер сонную слюну, что сладко скопилась в уголках влажных губ, устался на родинку, что украшала щеку светлоликой старухи. С полминуты он рассматривал родинку, будто никогда в жизни не видел ничего подобного, потом тяжело, со стоном вздохнул.

Его с желтоватыми белками глаза остекленели, на них наваливалась невыразимая мука – то ли то выходил яд сверх меры выпитого вина, то ли, напротив, то было страдание от недопитого последнего глотка. В общем, безысходность была налицо. И кривоносый решил не оставлять человека наедине с его бедой. Он извлек откуда-то фляжку, наполнил ее содержимым серебряный наперсток, в котором было граммов пятьдесят.

– Осторожней, ваше сиятельство! Спирт...

По тому, как мастерски кривоносый совершил процедуру лечения щеголя-деверя, Бекет понял, что перед ним профессионал, который не раз, не два на своем веку распарывал ребра и красненькой, и беленькой. Светлоликая старуха сидела, неотрывно глядя на раскрасавчика-деверя, тот, прежде чем опрокинуть наперсток, весь сжался, как гусеница, потом, опять же как гусеница, растянулся, расслабился. Она так сопереживала каждому его движению, жесту и вздоху, что, казалось, спирт ударит в голову не только ему, но и ей. А кривоносый, спрятав фляжку в свою «сумку бед», беспечно насвистывал что-то бравурное. Вот змей подколотный, подумал Бекет, внешне, впрочем, не выказав это никак.

Дверь снова грохнула, в нее просунулось лицо рыжей старухи:

– Эй, девушка! Что – голову варить отдельно?

– А что – во всем лесхозе на всё про всё один казан? – в тот же миг отбрил ее Асеке.

Рыжая старуха в ответ оскорбилась, оглушительно хлопнула дверью, с божьей помощью не ушибив сама себя. Асеке, всё так же насвистывая, принял бумаженцию из рук белоликой старухи и, будто чек на очень крупную суму, передоверил ее Бекету. «Почтовый перевод на тысячу рублей. Директору Котанাগашской начальной школы. От Ситана Котырбасова. Для письма: прошу Вас мое скромное сбережение использовать на нужды моей родной школы. С уважением, ученик сороковых годов Ситан».

– А причем тут лесхоз? – пожал плечами Бекет.

– В общем-то ни при чем, ваша светлость, но не хотелось бы поднимать скандала. Тут всего-навсего нужен свидетель.

– Свидетель? Зачем?

– Видите ли, ваша светлость, этой щедрости Ситеке не хотят верить целомудренные девы, что охраняют устои нашей почты. Мой же авторитет наполовину подорван моим кривым носом, – и Асеке для пущей важности постучал указательным пальцем по носу, чтобы все еще раз убедились: да, нос действительно кривой и не внушает доверия. – И чтобы добиться веры почтовых дев, нам нужны: а – один депутат сельсовета, б – один начальник местного значения, в – один раб божий, праведность коего не имеет значения. Если говорить более пространно, то депутат – это юная дева, начальник – ты, раб божий – я.

– Какой же я начальник? – опять пожал плечами Бекет. – Нужен хотя бы замдиректора.

– В загуле он. Пьет горькую как сладкую. А сам директор... наш разлюбозный сивый мерин... он позабыл, поди, на кой ляд кобыле задница... всё одно – не подписал бы.

Асеке с нежностью придвинулся к щеголю-деверю, будто хотел его обლობызать, а тот, приняв спасительную дозу, сидел, потя и блаженствуя.

– Мой Ситеке!.. Как же они унижают тебя, недостойные, не принимая твой искренний и чистый дар...

– О, божье наказание! Да замолчишь ты наконец?! Была у ботала одна работа, и ту он украл, – и, вынудив умолкнуть Асеке, светлоликая старуха обрушилась на своего «высокородного» деверя. – А ты что рассиропился? А ну отвечай: откуда деньги? Или язык проглотил? Вы посмотрите на него: бросается тысячами! Они что у тебя, лишние? Да твой отец никогда таких денег не видывал!.. Ну, что молчишь?

– Да... то есть, нет... но...

У рыжего всё тело размякло, даже глаза подернулись дымкой, он пригладил пушок у виска, вытер ладонью взмокшее темя и молящим взглядом искал кривоносого, дескать, хоть ты скажи им что-нибудь.

– Да... то есть нет... Но – будет. Лишь бы сам он был в добром здравии, – кривоносый не стал изыскивать какие-то там объяснения, а ограничился в основном словами самого раскрасавчика-деверя.

М-да, тут не только яловые бабы с почты, даже Бекет засомневался: нет ли здесь подвоха? И с чего бы это кривоносый стал скользить и выворачиваться наизнанку, как кишка? Нет, надо бы сбежать отсюда, а то неровен час... Но пока он так рассуждал, рыжая старуха приволокла такой же, как и она сама, огромный рыжий самовар, и в довершение ко всему прикатила низкий круглый стол, поставила перед ним, отрезав напрочь путь к побегу. А светлоликая старуха, никак не желая сдавать позиций, подъехала к Ситану с другой стороны:

– У тебя же восемь детей! Если на тебя свалилась эта тысяча, так, может, ты их оденешь хотя бы да прикроешь зад своей жене? Нет, вы посмотрите на него: он вспомнил родную школу, у него душа по ней изболелась! А то, что у него полный дом голодранцев, которые есть-пить хотят, которые...

– За что люблю старую гвардию! Ораторы! Как заговорят, дух захватывает, – восхитился Асеке и опять повел куда-то в сторону. – Что ни говори, а секретарь сельсовета – голова! Всё высчитала: знает, у кого сколько детей, у кого что болит, у кого где горит. Но, бесценная ты моя женеше!¹ Кроме семьи и детей есть еще кое-что, чего не всегда сосчитаешь костяшками конторских счет.

– А ты меня в должности не понижай! – получил он отлуп. – Не секретарем я была – председателем. Это уж ты знал ту пору, когда в моем ведении осталась тряпка да швабра, а встретить ты меня раньше, я тебя вмиг приструнила бы.

– Коль обмолвился, ошибся – прости, обидеть не хотел, – сказал он по-киргизски и опять вильнул в кусты. – Всё, разговоры побоку: пьем чай! Господин мой, повелитель, видать, не весь еще пот вышел из тебя. А ты на чай налегай, на чай, оно и полегчает. Даст бог, скоро дойдет в казане голова сохатого. Да буду я жертвой твоей, Ситеке, но – не пристрели ты лося, мы б отсюда отчалили, на-верное, несолоно хлебавши!..

«Тысяча рублей – да это же штраф за убитого лося! – догадался Бекет. – Как же медленно я соображаю...» Понятно теперь, почему рыжий Ситан, как бык в

¹ Женеше – жена старшего брата.

наморднике, без кнута пляшет перед кривоносым. Жалость к Ситану вмиг улету-чилась, осталась досада, будто его обыграли в карты, и вкусный чай со сливками как бы утратил свой аромат, и вообще Бекет был не в своей тарелке.

– В конце концов, – сказал он нехотя, – дело это подсудное, разбираться в нем должно охотохозяйство, а не мы, – он как бы полностью спихнул на Асеке развязку заварухи, в которой невольно были соучастниками все.

Асеке был готов к такому повороту дел и пробурчал с неохотой, будто с оказией привет передал дальнему родственнику:

– Рад бы в рай, да грехи не пускают. А ну случится что, пока до райцентра дотащимся?..

Он сказал это вполголоса, с ленцой: мол, моя хата с краю, решайте сами, как знаете. Но, видать, даже сказанные вскользь слова егеря заставляли старух держать ушки на макушке – они враз поставили пиалы на стол:

– Чего опять чадишь?

– Так куда же деваться? Оно всегда чадит перед пожаром. И хорошо, если чадит. Потушить можно вовремя. За головой сохатого милиция маячит, за милицией – прокурор, следователь, суд. А дальше командировка на несколько лет. За казенный счет. В места не столь отдаленные. Это за одну только голову. А ну как Ситеке позаимствовал у тайги на зиму мяса чуть больше? Нет, вы не смотрите, что он носом клюет. Он у нас трудолюбивый...

– А ты не каркай! – рыжая старуха настороженным взглядом проводила пиалу Асеке. – Неужто восьмерых детей не пожалеют?

– Ой, если б только восьмерых детей! А пять коров? – округлил глаза Асеке. – Да с годовальными телятами! А пятнадцать лошадей? Их тоже надо пожалеть. А десять быков – их каждый год покупают, откармливают и сдают на мясо. Вы подумали о бедной скотине? Ведь и она осиротеет, если Ситеке приглубят в суде. Так-то, красотки мои!.. А теперь смекните, болею я душой за Ситеке? Ночами не сплю, как подумаю, что именно я могу оказаться черным ишаком с белыми ноздрями.

Если ишак – эталон тупости, то, очевидно, черный да с белыми ноздрями – эталон эталонов. Бог знает, как распознали это удивительное свойство ишака люди, которые в глаза его не видели, но что касается кривоносого, то как бы он ни прикидывался овечкой, но рядом с ним любой ишак, любая животина – сам серый волк! – взвыли б, моля о пощаде. Он без ножа – одним взглядом зарежет, он и ругать тебя не будет, а лишь похвалит, но от той похвальбы ты будешь искать пятый угол. Любое слово его жжет крапивой, и сам он язва несусветная... Крапивное семя – вот он кто! А что, точнее не скажешь: крапивное семя. Бекет, которому во всю его жизнь не удалось ни разу ни на кого навесить ярлык даже безобидного прозвища, страшно обрадовался, что сумел хотя бы мысленно, про себя, но ничего не скажешь – лихо пригвоздить эту кривоносую язву.

А крапивное семя сумел доконать светлолицую старуху, потому как она, решив избавиться от его приставаний, всё же поставила подпись на бланке почтового перевода, но он лишь глянул на ее каракули и тут же их забраковал:

– Скрамница ты моя несравненная! Где не надо, ты вроде громкоговорителя готова на всю округу объявить, что заправляла сельсоветом. А ты вот здесь, на этом бланке, напиши свой титул. Ты думаешь, имя свое тут накарябала, так всех

осчастливила этим? Подумаешь, Саркыт!..¹ Ты не объедки давай мне, ты гостинец выкладывай. А то – Саркыт... Почему людям знать, какая такая Саркыт?

– Ну нахал! Ну стервец... А то люди не знают, кто такая Саркыт. А про объедки да про сладкую долю – это ты верно заметил. Про них ты должен спросить у дядюшки своего. Если, конечно, поднимешь его из могилы, которая, кстати, неизвестно где... На, подавись! Пусть нос твой от этого станет прямее.

– Ну и ну! Если б почерк твой увидели в военкомате... в сорок первом году, быть бы тебе полковым писарем! – при этом крапивное семя внимательно проследил, какие там крупные буквы лепит старуха и, будто вернув с нее давнишний долг, удовлетворенно взял у нее бланк, скатал его трубочкой и положил в карман Ситана.

Когда из громадного рыжего самовара до капли выцедили кипяток, все за столом были, кажется, сыты по горло. Не столько от чая и еды, сколько от торгов крапивного семени. Наконец, кривonosый открыл свою «сумку бед», достал оттуда четыре тысячи рублей – прямо в упаковочке из банка! – и вручил их рыжему:

– Это деньги за твоих быков. Тысячу рублей переведи сегодня – сейчас. Не переведешь – завтра встретимся у прокурора. Чао, бамбино! Дуй!..

И после слова «дуй» этот дьявол, крапивное семя, воткнул черный нож в низкий столик и так полоснул своим змеиным взглядом рыжего, что от взгляда этого тот должен был кончиться на месте. Никто не заметил даже, как Ситан встал с плешивого кресла, как оделся, вышел. Старухи сидели, потеряв дар речи. Бекет сидел, пытаясь переварить весь этот спектакль. Лишь кривonosому всё было нипочем, он поглядывал в окошко и насвистывал что-то уж слишком мудреное.

3

Спальня в двухэтажном коттедже из красной лиственницы находилась наверху. От желтой печи в глубине комнаты шло теплое дыхание, терпко пахло смолой, и густой этот запах вызывал в памяти вкус кумыса, который томится в кожаном мешке, укутанном в свежеплетенную циновку. Недорогая мебель из кедрача была легкой, но прочной, кувалдой бей – не сломаешь. Ясно, что мебель своя, сделанная тут же, в лесхозе, и хоть была она кустарной, но ничего подобного в столице не найдешь. «Вот бы всё это взять и увезти отсюда!» Бекета обуяла жадность, хотя куда, зачем ему везти? Крапивное семя затаился на своей кровати, уткнулся носом в книгу, набирается желчи и яда. Так пролежали с час, и оттого, как видно, что Бекет всё ворочался, никак не мог уснуть, Асеке решил поблажку сделать соседу: сунул книгу под подушку и, нажав на пупок выключателя, потушил сиротливую лампу над головой, принеся запоздалые извинения, причем на киргизском языке. «Прости, Беке, не могу заснуть без чтива, оно мне вроде колыбельной – такая уж болезнь». Надо же, какой худющий, колени выпирали из-под одеяла как штыри.

– И сколько же тебе... предстоит? – спросил он после долгого молчания.

– Лет, что ли?

– При чем тут лет? Возраст у тебя на лбу написан. Я спрашиваю: сколько тебе здесь торчать предстоит?

– Думаю остаться насовсем.

– Это можно. Оставайся, – опять по-киргизски откликнулся он.

– А что это вы по-киргизски шпарите?

¹ Имя старухи, дословно: остатки (объедки), а также – гостинец, или доля сладостей, выделенная для гостей.

– Да так, привычка. Один из видов трепа. Есть у меня киргизские друзья-товарищи. Правда, уж лет пятнадцать лет их не видел... А ты попробуй тоже: язык вроде бы и не чужой, и не свой – поговоришь на нем, и вроде злость проходит...

– Вы что – пятнадцать лет здесь работаете?

– Почти... Не считал двух лет, когда я ездил в Мекку.

– Паломник?

– Почти... Жаканом сделал мету на пятке родственничка одного, браконьера
И пришлось совершить паломничество в лагерь – понятно какой, да?

– А родственник этот – Ситан?

– В десятку попал.

– Странно... Чем же он занимается?

– Меня караулит. Стоит отвернуться – тут же стреляет. Мышь на глаза попадет, не оставит в живых. Когда-то работал учителем в начальной школе, был заочником пединститута. Но сбили с толку мышинные шкурки, он из-за них лет десять не мог закончить институт. Так и бросил – и школу, и учебу.

– Ничего себе! Судьбу сменять на мышиную шкурку...

– А что удивляться? В этой тайге всё шиворот-навыворот: скотина дороже человека, мышь ценнее лисы. Сдери с Ситана шкуру – за нее копейку не дадут. А мышь... ну-у, мышь. Мешок шкурок этих мышей на базаре знаешь сколько стоит? Лет десять можно жить припеваючи, да не одному – с семьей.

Большим полотенцем Асеке накрепко обвязал голову, укрыв глаза от света, и вытянулся на постели. Со стороны напоминал он сумасшедшего, привязанного к кровати. В какой-то миг Бекету показалось, что это труп из морга, прикрытый простыней и подготовленный к вскрытию. Бекета даже передернуло, будто и вправду мертвец на соседней кровати, причем – ни звука, ни вдоха, лишь нос торчит из-под громадного полотенца.

Что делать? Привычка. Обычно до глубокой ночи Асеке читает, к рассвету глаза завяжет полотенцем и затаится от белого света. Спит – не спит, но лежит лежмя до полудня, в такой момент и к намазу его не поднимешь, а бока отлежит – встанет. И книги всегда под рукой: куда бы ни шел, набивает ими свою «сумку бед». Что за книги, откуда они? А это мало кому интересно, не станет читать его книги досужий читатель.

Лежанье нынешнее было особым, и поход – необычным. Он со вчерашнего вечера отмахал пешком километров сто, не меньше. И перед этим тоже был в пути: в райцентр и обратно в седле натрясся, и лошадь, будь она неладна, натерла бабки о твердый снег... Жаль, не отпустил лошадку под стог! Хорошо, если сосед-мерзавец ее заприметит да позабудет, что он скупердяй!.. Он не чуял ни рук, ни ног, лежал и думал думу про свою лошадку. Тело было разбито, будто он не шел те сто километров, а волокли его волоком по ухабам и кочкам.

Эта сволочь Ситан – из-за него все напасти! Вечно висит на моем хвосте, и я же еще локти кусаю. А как бережется при этом!.. Из десяти откормленных быков пять сдал в заготскот от имени Асеке – а ну как властям ударит в голову, что Ситан – бедолага разбогател сверх меры. И всё бы ладно, но заготскот тянул волюнку с октября по март – не выплачивал деньги. А крайний вроде как Асеке, к нему являлся Ситан каждый день, драл глотку: мол, где мои деньги? А сам, скотина, доил почем зря этих бедных мышей, драл с них, считая не шкуры – червонцы. В общем, пилил он, пилил Асеке, тот не выдержал, съездил в райцентр

тряхнул заготкот, забрал треклятые деньги Ситана. Возвращается, едет мимо заимки Аюлы – а это единственная заимка по соседству, и живет на ней единственный сосед Тынымкул, лесник. А этот самый Тынымкул как раз разложил огромную шкуру годовалого лося и с таким интересом разглядывает ее, будто никогда в жизни этих шкур не видел. Ой, Асеке, говорит, как ты кстати. И приглашает его вместе разглядывать шкуру. Откуда шкура? А по воде приплыла, тут вот неподалеку за ветку зацепилась. Что удивительно: ни дырки от пули, ни прорехи от ножа. Будто лось сам, по своей воле, вышел из собственной шкуры и подался восвояси, а шкура, значит, плыла-плыла и приплыла. Загадка? Ребус, да еще какой!

– Как же его угораздило? – кривил свой нос в недоумении Асеке. – Видать, кто-то гнал его с той стороны реки...

– Ну да, на нем же метка стоит, что он с той стороны, – ехидно поддакнул Тынымкул. – Только веткой его зацепило на этой стороне, и ответ за шкуру сбежавшего лося тебе держать.

Но как бы он ни ехидничал, а досады своей скрыть не мог.

– Вот с-сучонок, а! Нет, ну ради приличия мог бы оставить нам с тобой хоть потроха.

Понятно, мяса давно не ел. От обиды у него глаза потемнели. Казалось, он ту сырую шкуру готов целиком проглотить.

– Слушай, а может, в самом деле, шкура без лося пришла? Нет, ну может такое быть: лось на той стороне остался, а шкуру отправил прогуляться на эту сторону?..

Задача была явно ему непосильна. Как бы он разумом не помутился, бедняга. Помочь надо товарищу, срочно помочь.

Асеке проверил пальцем кривизну собственного носа:

– Давай рассуждать здраво. Хоть один рукав Бухтармы течет в нашу сторону? Нет. Теперь смотри: вода не успела даже разесть подкожный жир шкуры. И кровь еще не просохла. Значит, что? А то, что мясник свежевал лося здесь, на этом берегу, и шкуру, пусть без потрохов – не будем мелочиться! – он вместо пламенного привета нам послал. Кушайте, мол, на здоровье. И ты сейчас как в сказке: по усам текло, а в рот не попало.

– Свежевал... на этом берегу? – у Тынеке челюсть отвисла. – Э, уж не меня ли ты подозреваешь?

– При чем тут мои подозрения? Меня здесь не было. Но... ведь и с той стороны люди тоже не без глаз и смотрят не только на ту сторону, но и на эту.

Хотя, конечно, тавро никто не ставит на зверюшках, но у этой стороны и у той хозяева разные. На той стороне тоже есть свой Асеке – разве что не такой кривоносый. Оба они привереды, поделили всё поровну, даже воду Бухтармы – не говоря уж о летающих, ползающих и рыскающих. Каждый сам у себя удельный князь, а что там творится на соседнем участке, мне дела никакого нет – ничего не вижу, ничего не слышу, хоть мамонт сдохни там. Правда, если какое ЧП, они, бывало, старались спихнуть друг на друга, не без этого. Причем крайним чаще оказывался Асеке – то ли в силу того, что не умел хитрить, то ли в силу своей неистребимой доброты, которую пытался скрыть. И вопреки вражде ему и сейчас не хотелось бы сваливать на соседа этот неожиданный «подарок».

– Так, рассуждаем дальше. Наверняка этот несчастный плыл с того берега, – Асеке призывно и взыскующе смотрел на шкуру, будто хотел вернуть ей жизнь. –

Но, подплывая к берегу, получил пулю в лоб. Его тут поджидали. Кто? А хотя бы эта сволочь Ситан.

– Ну да! Он же днюет и ночует у тебя. Неужто пойдёт на такую подлость?

– У кого он не днюет и не ночует? А подлость... он не знает, что это такое, – и восхитился невольно: – Выходит, меня отправил в райцентр за деньгами, а сам вернулся и полез в мой хлев!..

Про Ситана он вообще-то забыл. Просто тот постоянно сидел у него в печенках и, понятное дело, имя его непроизвольно сорвалось с языка. За какие же это грехи навязался он на мою голову? Вот уж воистину: пока собака не съест дерьма – не успокоится. И я, как та собака, пока не вываляюсь в чьем-нибудь дерьме, не найду себе места. Казалось, учили тебя, учили, а всё без толку...

Он тут же спешился с лошадки и, как был с дороги, при деньгах для Ситана, не заходя домой, начал расследование. То есть он думал обойти лишь ближние окрестности, а уж более тщательные поиски отложить на завтра. Но тут же на берегу засек следы двух коней, и следы повели его прямехонько в Жандысай. Засек он и то, что у одного из коней задняя подкова сломана, копыто с трещиной, а ведь игренева с серыми глазами кобылица, на которой гарцует Ситан, левую ногу ставит со звоном. Следы привели его в Жандысай, но тут же круто повернули в Жаманай, а чуть погода и вовсе двинулись вспять – на Котанагаш. Вор был опытный, умел замечать следы, и Асеке по почерку узнал Ситана, а рядом с ним был – кто? Матпуса или Патла, не иначе. Петляют, как зайцы. За кого ж вы меня принимаете? Да от меня в тайге не то что вор – блоха не скроется!..

Котанагаш – благословенный угол, куда и летом человек стопы ног своих направлял крайне редко, а уж зимой, да верхом, да сразу двое – это, знаете ли, событие. Маячило здесь двадцать крыш. Если взять в расчет пять-шесть человек, у которых еле-еле душа в теле, то мужиков будет не меньше двадцати – это без мелюзги голоштанной, в придачу к ним – двадцать платков, есть школа-четырёхлетка и водяная мельница – это ведомство сельсовета, а на хозрасчете совхоза – пасека: на ней, если выдастся год, мед девать некуда, а не выдастся – хоть караул кричи, чтоб пчелы не подошли с голодухи. Когда-то здесь был рудник по добыче золота, но то ли золото кончилось, то ли стало оно себе дороже, а только прииск, закрытый еще в военные годы, так и не открылся вновь, и те двадцать крыш держали на своих плечах добры молодцы вроде нашего Ситана. Впрочем, Ситан вот уж лет десять как переехал на заимку, но остались его сотоварищи – Матпуса и Патла. Два раза в году они отрывают свою задницу от печи и спускаются вниз, чтобы получить зарплату, или, как ее точно здесь окрестили, «зряплату», и чувствуют себя при этом богатеями, что побывали чуть ли не в Париже, где – подумать только! – отведали в дорстроевской столовке блюдо под названием «макаронный суп», и хоть они по-прежнему сморкаются в два пальца, важность содеянного так и хлещет из них через край, и домашних они узнают с трудом. Но, несмотря на этот аристократизм, если где-то в округе пропадали драный ягненок, то можно было не сомневаться, что запах паленой его головы витает вблизи котанагашских крыш. И если их уличили в воровстве, то краска стыда не смущала их души – они были выше этого. Так что кривой нос Асеке верно взял след...

Ситан и Матпуса сидели неумытые, в кровищи, факт содеянного был, так сказать, налицо. Мясо бычка они успели уже разделить между тутошних крыш, продав его незадорого – не торговаться же! – по рублю, и не будь он Асеке, они

бы ему тоже продали. Впрочем, явись он чуть позже, ему бы не досталось даже головы опаленной забитого зверя, они бы ее уже засунули в казан, чтоб было чем закусывать.

Едва Асеке переступил порог, как раздался вой хозяйки дома, колченогой красавицы Бике, весьма отдаленно напоминавшей женщину, но шибко похожей на иноходца. Причем причитания свои и комплименты она обрушила на голову Ситана:

– Ах ты сволочь! Ах негодяй... Чтоб рученьки твои отсохли, чтоб ты не дотянулся ими до собственного хрена. Как чуяло сердце! Приведет за собой «сумку бед».

Она выла так, будто муж ее только что помер. Матпуса, видать, одну бутылку уже опрокинул, второй в самый раз начал скидывать тубетейку. Вой жены отвлекал от этого важного занятия, и он рявкнул, будто кнутом огрел своего колченого иноходца, а то хоть из дому беги.

– Ах, молодец! – одобрил его шаг Асеке. – Сколько же можно быть битым ее поварешкой? Вишь, и ты ее припугнул кочергой.

Тут же явилось жаркое из куырдака, но тут же из каких-то щелей повывлезли к блюду голышата, похожие на едва родившихся и еще не обросших шерсткой мышей.

Ага, смекнул Асеке, то была артподготовка, теперь в ход пошла легкая кавалерия малышей Матпусы, бьют его, кривоносого, по носу. Не стыдно, мол, неужто и теперь тебе жаль какого-то полудохлого лосенка, который без толку ходил по тайге?

Он и всего-то сказал два-три слова про поварешку и кочергу, но слова те как бальзам пролились на душу колченогой хозяйки-красавицы: она вмиг стряхнула одеяла, проворно расстелила их, готовя место для дастархана, и пригласила гостя на почетное место. А у него духа не хватило потянуться ложкой к блюду, в глазах мельтешило: малышни вместе с внуками у Матпусы было голов за тридцать, его быстроногая Бике рожала по двойне и никак не меньше, соревнуясь в этом увлекательном деле со своими невестками. Когда Ситан, приговаривая: «Это тебе, мой ласковый, это тебе, мой маленький, это тебе, мой сладенький!..» – стал накладывать перед каждым кучечки куырдака, егерю показалось, что сволочуга Ситан и впрямь является благодетелем малых сих. А «сумка бед» – это ж пугало для них, и сам он для всей этой славной семейки будто кара господня. И от противоречивых чувств, которые им завладели, он поддал, стал куражиться, будто собрался отбить колченогую и конеподобную хозяйку у ее распрекрасного мужа. И как начал глушить!.. Это ж сколько они выпили до полуночи? Сволочуга Ситан рассчитывал, конечно, что под парами Асеке рассиропится, распустит нюни, пойдет на попятный. Ан нет! Что делать? Он и шепнул Матпусе: водка кончилась, надо бы драку затеять, иначе кривоносого на арапа не взять. Драку затеять – это значит, кому-то дать в рожу. А кому? И Матпуса, понятно, не дурак. Бить Ситана – так тот его кормит, бить кривоносого – ну кто ж из разумных во вредную задницу палец сует? Завтра тут же возникнет участковый и с почетным эскортом милиции тебя отправит в райцентр. Бить Бике – но и на нее ни с того ни с сего не набросишься. Недолго думая, он сгреб из-под стола пустую бутылку и запустил ею в печь. Бутылка вдребезги, следом – другая, трам-тарарам, вопль Бике, вопль Матпусы: «С-сука драная, куда водку спрятала?!» Ситан глаз не сводил с Асеке, ожидая, что егерь бросится в свару, начнет разнимать-защищать, а

тот никак не среагировал, каналья, его на такой-то мякине не проведешь. Видя, что провокация не прошла, Ситан сам с воплем бросился не пойми разберешь на кого, а в результате – пшик: в доме всё вверх дном среди ночи, шум, треск, будто горная куропатка шарахнулась из-под ног, а кривоногая бестия в стороне, как ни в чем не бывало.

Ну тут уж звонкоголосая Бике на всю катушку выдала свой репертуар:

– И это муж, люди добрые? Голодранец несчастный, в кого ты меня превратил? Брал замуж – горы сулил золотые! А что я вижу, кроме пинков? Ой, заберите меня в райцентр! Ой, руки на себя наложу!.. Я пришью ему алименты. Что ты машешься? Что ты машешься? Хрен короток – руки долги? Я тебе их подравняю, ты допрыгаешься...

Вопя и рыдая, Бике прокручивала свой обычный репертуар, но глаза этой ведьмы, околеть ей без похорон, оставались сухими, и ясно было, что и она берет на пушку Асеке, пытается его разжалобить.

В ту ночь он так и не заснул. С первыми петухами сел на игреневую кобылу Ситана – ту самую, с отломанной подковой, а самого хозяина погнал пешком, взвалив ему на шею опаленную голову лося. Колченогая Бике догнала его за воротами и пыталась всучить ему кусок голени, чтоб сунул его в мешок, притороченный к седлу. Опять козни? Чем же я буду обязан за этот гостинец?.. Он внимательно посмотрел ей в лицо, но увидел лишь следы схваток двадцати родов да схваток с разлюбленным мужем, который превратил жизнь ее в ад.

– Много ли навару с одной головы? – сказала она, и не было в ее голосе ни раздражения, ни обиды. Он взял обратно свое пожелание «околеть ей без похорон», но то была единственная уступка его заскорузлой души, очерстневшей в сиротстве, никак не отзывавшейся женскому началу, и лишь одна струна, невесть как уцелевшая в разошедшей балалайке его жизни, глухо дзинькнула, смолкла, и он, с неподкованным копытом игренивой кобылы, догнал сволочугу Ситана.

«Нет, а правда: за какие грехи Господь привязал меня к псу шелудивому, что сам дерьмо жрет и меня заставляет? Убежал бы, что ли, от меня? Не убегает. И я убежать не могу. Я для него несчастье, и он для меня не подарок... И надо же: такая псина женится, и Бог ему детей дарует, да не скупясь – их у него как-никак восемь!..»

А мир подернут туманом: и на земле туман, и на небе белесая мгла, хоть мечом секи, ничего с этой мутью не сделаешь. Ни одного живого звука, лишь скрип резиновых сапог Ситана, что с хрустом топчут затвердевший снег, похожий больше на серый комковатый сахар, да хруст под копытом игренивой лошади, будто ступает она по битому стеклу. И не голова какой-нибудь глупой буренки с подворья, а башка годовалого лося легла тяжким грузом на плечи здорового мужика, согнув его в три погибели. Ситан пошатывался, еле переставляя ноги, пропитанный кровью мешок горбатил его спину. Мешок был желтый, с серыми полосками, будто сшит он из дрального знамени невесть какой страны, и окроплен он невинной кровью, и выглядывают из-под мешка уши сурочьей шапки браконьера. «Молчит. Будто всё так и надо. Ну-ну, надолго ли тебя хватит?»

– Носил бы он сам свою голову, а? Ему это было сподручней, чем тебе? Нет?

– Лошади сподручней...

– Лошади... Она и без того таскает на себе такую скотину, как ты.

– Да? А сейчас она какую скотину тащит?

«Ты гляди! Еще отбрыкивается... Везет же людям: этакой-то псине и такая жена досталась. Да если бы не Самага, ты бы давно сдох в тайге, никто бы не знал, где твои кости. С-сволочь!..»

– Сволочь!

– От сволочи слышу.

– Ты скажешь правду?

– Зачем? Скажу – не поверишь, совру – тоже добра не жди.

– Что, и у тебя еще есть что соврать?

– Немножко осталось. Правда, Самагу обмануть – моего вранья маловато.

Тебя... ну, еще не родился такой человек, чтобы тебя надуть. Разве что самого себя одурачить?..

«Благородным прикидывается. Несет околесицу...» Но мешок Ситана к седлу приторочил:

– Теперь не помрешь. Шагай веселее.

Помереть-то он, может, и не помрет, но близок к этому. Лицо отекло, расплзлось, посинело. И зачем столько пил? Готов отца пропить родного. Шее, казалось, была не под силу тяжкая ноша головы под громадной сурочьей шапкой.

– С-сволочь!

– Не надоело?

– На, держи, – из «сумки бед» он вытащил фляжку. – Только один глоток!

А ему больше и не надо, глотки, они бывают разные. Он, вишь, хлебнул, как следует. Не знал, что спирт. Так и плюхнулся задом на лед, побледнел, будто на тот свет отходит:

– Ты что, сбесился? Надо же предупреждать!

– От чего опьянел, от чего околел – не всё ли равно? Да разве такой пес, как ты, околеет? Вставай и – вперед. Нам песня строить и жить помогает.

Вот, он и вправду шустрей зашагал. О, шапку снял, вытер лоб. Щепотка пушка на затылке загорелась, зачадилась голая макушка, словно дымилась, исходя паром.

– С-сволочь!

– Может, хватит?

– Пой!

– Но я всю зиму ходил тихо. Ни-ни! Не веришь?

– Верю, верю. А теперь, когда весна пришла, ты с голоду мог сдохнуть?

– Да этот вражина подзуживал. С той стороны, и с этой тоже есть кому подзуживать. Не знаешь своего доброжелателя?

– А что это они так за тебя взялись?

– Ну! Этот говорит: ты жди, я погоню на эту сторону. А тот говорит: ты сделай дело, а с зятем из Котанага(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((ша я договорился. Да посулил полвыручки. И ляжку в придачу. Вот я и...

– Разбогател?

– А-а, всё треп! Не деньги – слезы. Двести рэ.

– Чтоб ты сдох!

– Ей-богу, правда!.. А тех двух я надул. Всё, что выручил, отдал Матпусе. На нулях сидел, бедняга.

– Ишь ты! А перед теми как выкручиваться будешь?

– Никак. Пусть не суются ко мне, за километр пусть обходят. А сунутся, такой разгон дам – своих позабудут.

«Этот», «вражина» – значит егерь с той стороны, пройдоха Ажибек, а «тот», «доброжелатель» – богом данный сосед Тынымкул. То-то юлил он, мел хвостом – знает кошка, чье сало съела. Ш-шакалы! А расхлебывать за них кому? Этому бедолаге.

– Ты что, не знаешь: штраф за лося – тысяча рублей?

– Ну да! Побойся Бога! Ведь не впервой. Прошлогодного съели за так.

– А нонешнего съешь за эдак. Если не упрячу тебя за решетку, отрежь мой кривой нос. На этот раз должок с тебя я сдерну. Баш на баш!..

«Вот нервы у сволочуги! Как кремьень. И ухом не поведет!» – злился один. «Шиш, посадишь! Кишка тонка», – думал другой. «Вот возьму и снова – ка-ак врежу по жирным пяткам жаканом! – не унимался первый. – Всё равно больше двух лет не дадут».

Бывают ночи, снится ему исправительно-трудовой лагерь. Барханы, барханы кругом. Ни кустика, ни намека на тень. Елки-моталки, и это называется жизнь!.. Кое-кто ставит в заслугу себе, что сидел. А какая в том заслуга? Наворочал ты дел, предположим, засыпался, признался, понес наказание. Где тут геройство? А такого всем миром жалеют – мол, пострадал. И пострадавший, как свадебный генерал, полгода по гостям разгуливает. Полгода всем миром ему ищут работу. Всем миром чествуют, почет воздают. За что?

За что всем миром ополчились, загнав Асеке на два года в тюрьму? Всё-то его преступление – то, что он продырявил жирную пятку. Да хоть бы доброго человека какого, а то... сволочугу Ситана. А свара возникла из-за собаки. Ах, какая это была собака! Ни у кого не было такой собаки. Лайка западно-сибирская. Нюх – блеск! А порода... Не сука – царица. Цены ей не было. Вот за Ситана он ломаной копейки не дал бы – дрянь человек! А за лайку не пожалел бы денег никаких. Так этот скот что сделал? Пристрелил ее. Она ему житья не давала, она его выслеживала вмиг, как бы он ни заметал следы... Пристрелил, сволочь, собаку, и деру. Асеке догнал и сгоряча пальнул медвежьей картечью по жирным пяткам Ситана. Ну пальнул и пальнул, ничего с ним не сделалось. С полгода хромал – и всех делов-то. Жаль, надо было врезать дуплетом по жирному заду. За те два года, что он сидел, ни одна живая душа не искала его. Кроме Ситана.

Там тоже были свои господа, своя чернь: мужики, воры, суки. Мужики – шоферы, бухгалтера. Парни, выкравшие девушек. Ходили и такие, вроде Асеке, что отбывали срок за свою горячность. Воры есть воры. А суки – те же воры, только масти другой. Сидели и такие, кто совершил тяжкие преступления, вплоть до убийства. Распределение работ было четким. Суки работали в закрытых цехах, воры на открытом дворе готовили им сырье. Мужики – те сами по себе, ходиброды по степи, места много, дел невпроворот. Еще бы! За лагерем числилось двадцать тысяч овец, ферма крупного рогатого скота и птицефабрика. Он и сено косил, и корма подвозил, и строил дома да сараи. Всё как на воле. Даже конвоя не было. Правда, один дурак вроде Ситана – за воровство девушки сидел – задумал бежать. Ему еще год накинули. Когда спросили его, куда же он хотел податься и где бы он сумел укрыться, тот ни мало ни много ответил:

– А хоть разок хотел взглянуть на крыши родного аула...

Дуралей, а? Но Асеке после этого тоже затосковал по родным местам. И тосковал он не по Каратау – по тайге тосковал, по таким вот, прости господи, землякам, как Ситан...

Жара стояла несусветная. Казалось, небо расплавится и прольется на землю. От барханов несло жаром, как от раскаленных железных печей. Однажды в полдень, когда даже в тени дохли мухи от зноя, кто-то приплелся к ним в лагерь, таща на собственном горбу мешок. Лицо пришедшего блестело грязным потом, оно разбухло, почернело. Только-то и остались глаза. И Асеке с трудом признал в нем – кого бы вы думали? А сволочугу Ситана.

– Теперь и помирать можно, – едва ворочая разбухшим языком, сказал тот.

Всё правильно, дома он не нашел человека, который кинул бы ему на гроб горсть земли, в ад кромешный прибыл помирать. Сквозь мешок выступил жир, он пропитался пылью и покрывал мешок будто короста, и такая же короста грязи покрывала лицо Ситана. Из дому, Бог весть из какой невысказанной дали, он притащил вяленую тушу козла.

Асеке проглотил комок в горле:

– С-сволочь! Это ты приволок для своих поминок?

– А что, здесь мясо не едят? – вытаращил тот глаза.

И целую неделю потом они коротали вдвоем в комнате свиданий. Ситан сообщил, что все живы-здоровы, что страсти-мордасти улеглись, и после того, как Асеке отправился загорать в эти замечательные барханы, народ поуспокоился, буря унялась, кой-кто уже сочувствует не только потерпевшему, но и пострадавшему и даже страдающему. В общем, снарядили его будто в Мекку. Всё выходило так, словно дела Асеке в лучшем виде: работа есть, крыша над головой тоже, едой обеспечен, не то что, мол, я – таскаюсь везде, рискуя животом своим, чтобы только добыть пропитание детям. Красота, да и только! Будто Асеке не на два года осудили, а на курорт отправили – отдыхать пока не надоест... С-сволочи! Хотя, постой:

– А ты-то что сюда явился? С чего бы это такое внимание ко мне?..

Ситан махнул рукой: мол, не спрашивай:

– Тебя как забрали, баба ровно сдурела. Грех, говорит мне, взял ты на душу. Если, говорит, человек живым не вернется, я тебе башку отрублю. Понял? Пень уже приготовила. И топор. Я в дом по-пластунски прокрадываюсь, под прикрытием малышни. Рычит как тигра, житья не стало... Слышь, может, ты возьмешь ее себе? Ну, хоть на время, пока беременная. А хоть и насовсем... Слышь, ты черкни ей письмо, дескать, так и так: прощаю... Ты обгавкай меня как хочешь, но только чтоб написано было: зла не держу. Понял? Хоть что-нибудь напиши.

– А-а, с-сволочь! Значит, приехал шкуру свою латать.

– Ладно тебе... Приехал же. Повидал тебя. Убедился, что ты не помер, что ты жив-здоров. Мало, да? Думаешь, легко было тащиться в такую даль, куда ворон костей не заносил? Нет, я, наверно, грамотный – мог бы свои приветы запечатать в конверт и отправить почтой. Или что – думаешь, у меня отвалились бы яйца, если б я не полюбовался на твой загар? Ну, оторви мне их, на! «Шкуру спасать...» У меня, может, до сих пор пятки не зажили – у меня, может, гангрена! Во, глянь: гной бежит... А эта баба совсем сдурела – я ей про пятки, а она меня взашей. Из дому вытолкала, как пса подзаборного. Тебе тут хорошо, ты в раю. Побыл бы ты в моей шкуре. Ад! Хромым дразнят – раз, душегубом, тебя сгубил – два, баба взбесилась – три. Нет, ну где справедливость?!

Если сказать – притворяется, то слишком дорого далось ему притворство. Если правду сказать, то кто бы мог подумать, что сволочуга Ситан способен на

подобное. Ладно, повел его в медпункт. Там ему пятки разрежали, подчистили, подштопали – в общем-то, операцию сделали. Пришлось снять на неделю квартиру, пока он одыбаётся.

– Хорошо-то как! – блаженствовал тот. – На целый вершок подрос. Слышь, у меня такой праздник сердца, будто я лошадь в лотерею выиграл.

И на полном серьёзе:

– Если б не ты, остался б я без ног.

А про то, по чьей милости едва ног не лишился – молчок. Может, и впрямь цена собаки не выше цены этих ног?.. Письмо Самиге он написал, намертво заклеил в конверте, вручил посыльному:

– Не вскрывать!

– А что?

– Дурно будет.

– Да? Что ты там написал?

– Если вернусь, написал, отобью.

– Иди ты! К-кобелина... С тебя станется. А баба есть баба, там жди любой закидон.

– Вот-вот. Жди. Пока поддержи ее на прокорме, а вернусь – поглядим.

...Именно – держит. На прокорме. И гребет к себе, и гребет. Ему копейка свет белый застит. Жадность? Или болезненная страсть? Он и браконьерством занимается поэтому. Живет на заимке да в такой глухомани, куда нога человека по доброй воле не ступит. Всё лето косит сено, а к весне, когда скотина отощает и корма поиссякнут, он продает хозяйствам свое богатство целыми стогами. Наладился весной брать тощеньких бычков, за год откормит и сдает их уже бугаями в заготскот. Тоже денежка, и немалая. А под боком тайга, которая кормит задаром. Что еще? Зимой сенники разных хозяйств охраняет, летом следит за местами зимовок. Навар? Еще какой! И всё это – за пояс. Детей у него – восемь душ. И к ним отношение такое же: до восьмого класса доучит, а дальше – топор, лопата, вилы в зубы и – слава трудовому крестьянству! Вот так и живет на данном этапе сволочуга Ситан, и куда выведет его судьба-злодейка, одному лишь Аллаху известно.

– Слышь, а куда ты меня конвоируешь?

– А ты не знаешь!..

– Ну уж дудки! Под суд отдай кого-нибудь другого. Меня нельзя. У меня мал мала меньше, жена на сносях. Поить-кормить их будет кто?

– Сами прокормятся. Пока ты на отдыхе, им, думаю, этого хватит? – Асеке открыл Ситану «сумку бед», набитую деньгами.

Тот обалдел, заворуженно глядя на тугие пачки купюр:

– Это что – со вчерашнего дня? В этой сумке? И ты молчал?.. А я-то думал, что аферист Ауганбай их прикарманил!.. Слышь, была бы у тебя жена, я пожелал бы тебе сына.

– Зачем? Ты и так их строгаешь – и за себя, и за того парня. Если что, по-братски поделим.

– Тоже мне... братишка нашелся.

Слепой туман чуть приподнялся над землей, из хмари выглянуло солнышко. Ситан шел, слушая, как дятел дотошно обследует кедрач. Стук раздавался с южной стороны, прогретой солнцем.

– Эх, жаль! Сейчас ведь самая пора...

Еще бы! Стоит солнцу пригреть, и бурундук шишкует, будто одержимый. Бери его хоть голыми руками. Ситан, досадуя, что не у дел, казалось, забыл про сумку с деньгами.

– Асеке! Скажи мне: что ты куролесишь? И что ты ждешь от жизни?

Наверное, впервые Ситан назвал его по имени. С чего бы это? Есть чему удивиться. Впрочем, прежде чем удивиться Асеке, удивление выразил его кривой нос, а уж затем и сам владелец носа, развернувшись по ветру, насмешливо глянул на собеседника:

– Что, обязательно надо ждать чего-то? А просто так жить нельзя?

– Ой-ей, он живет просто так! Ты не живешь, ты служишь – принципам. И ради них ты готов подставить собственную голову и голову любого, кто нарушил параграф, преступил букву принципа. Ты думаешь, ты хранитель алтайских богатств? Ага, ты денно и ночью на их страже... Ну, думай, думай. Но ты знаешь кто? Ты юродивый, ты притча во языцех, над тобой все смеются.

– Ишь ты! И что ж я должен сделать, чтоб не смеялись?

– Уйти! У тебя же светлая голова, у тебя талант, каких поискать. Кто поверит сегодня, что ты преподавал в институте?

– Кажется, и ты был учителем в школе?

– Был. Сеял разумное, вечное, доброе. В Котанагаше, в четырехлетке. Туда поросенка и то не загонишь. А что же делать человеку, если он знает чуток больше, чем это требуется учителю начальных классов, да в такой-то школе?

– Но это же твоя родная школа, она дала тебе путевку в жизнь.

– Ладно, что бренчать на этой балалайке?.. Чем попусту болтать, возьми из этих денег тысячу рублей. Даже две тысячи. А хоть и все бери!.. Не очень-то разбогатеешь. А то ведь ты весь день грызешь одни консервные жестянки: утром – «завтрак чабана», в полдень – «обед охотника», вечером – «ужин туриста». Так и сам в один прекрасный день загромыхаешь как пустая банка. И то-то: был егерь – нет егеря. Что, не так? Бери... Чего уж тут стесняться!..

Естественно, Асеке в ответ не смолчал. И в такой вот приятной беседе они коротали дорогу.

Оба спорили до остервенения. Поди разберись, кто уступил, кто настоял на своем, один ум у дурака занимал, другой дури своей не жалел, но большую часть дороги при том одолели. Кто выиграл, кто проиграл в том диспуте? Никто, наверное. Будто лошадами обменялись, баш на баш. До тошноты осточертевшие друг другу, они к обеду доплелись до Аксуйских дымов, и Асеке, ведя за собой сволочугу Ситана, прямехонько направился на почту...

...Оба за ночь не сомкнули глаз. Асеке по обыкновению не спал до рассвета. Лежа в постели, он опять прокручивал весь дневной разговор, изобретая убийственные аргументы, но и возражая самому себе, так что было не до сна. У Бекета тоже была дурная привычка: он чурался чужой постели, ему надо было для начала ночку промаяться, а уж на следующую он, пожалуй, заснет. Оба сделали вид, будто спали, оба сделали вид, что проснулись от грохота грома.

– Кого это, сиятельный, обманывает?..

Мартовский гром сулит непутевое лето: или сорок дней засуха, или сорок дней ливни. Скандал, возникший в заоблачных высотах, перекинулся на землю.

и земля, обиженная, всхлипывала в предутренней мгле. Протерев ладонью вспотевшие окна, Асеке посмотрел на горизонт – там, на северо-западе, был «гнилой угол». Там с вечера оставалась горсточка туч, они-то и устроили весь этот ночной тарарам. Густой ельник, что рос за околицей, упрятал вершины крон в непробиваемо плотном тумане, чернея штанинами нижних лап. Аул в тисках туч и тумана казался повисшим над бездной, еще мгновение, и он сорвется в пропасть. Небо опустилось на землю, мир зябко дрожал и поскуливал. В приоткрытую форточку входило дыхание весенней сырости, пахло снегом. Видать, он выпал чуть выше, в горах. Наверное, последний нынче снегопад.

Во дворе тоже ночевал туман, он старательно прятал от людских глаз заборы, строения, оставив над землей полуметровую полоску чистого пространства. В тумане слышались шаги, и показались сначала шагающие ноги, а уж потом и сам идущий. Это была старуха Саркыш, да благословит ее Бог! Единственный сердобольный человек, опекающий здесь бездомных. Бедная женеше, да буду я жертвой твоему густому чаю!..

Внизу стукнула осевшая входная дверь. Спросонья зевнула дверца печи, загремела кочерга, прочищающая топку... Бекет тоже был вынужден встать. Он постоял, понуро глядя в окно, потянулся:

– Надоело!..

– Ну... если семь лет пил таежную воду, вроде должен привыкнуть.

– Да не про то я, а про эту слякоть. А так... моя хата с краю: ни сеять, ни жать, скота не держать. Тайга все равно: что дождь, что сушь, что зной, что холод.

– Ой ли! Алтай – не только деревья и дичь, у Алтая свои горести-беда. Да и твоя хата не с краю. Лес Аюлы – сколько тысяч гектаров? Двадцать. И на всех двадцати грибок жрет деревья. Слыхал, нет? А из вас который уж месяц никто не сунул носа в тайгу. Лишний шаг боитесь сделать. Что заморгал? Думаешь, я только тем и занимаюсь, что кручу хвосты оленям и косулям?.. Нет, милый, хвосты приходится крутить не только им.

– А можно я вместе с вами схожу? Хоть с неделю...

– Походить-то можно, да будет ли толк? Человек я шибко везучий, на меня так и валятся шишки. А ну как тебя рикошетом заденет?.. Если ты такой разудалый, уговори твоего... этого чижики-пыжики... шефа присоединить охотничье хозяйство к лесхозу. А то лес, как в той пословице: у семи нянек дитя без глазу.

Бекет как бы заново увидел этого человека. Смотри-ка, у него кроме сволочуги Ситана есть и другие печали. А главное – егерь высказал его заветную мечту, и он посмотрел на кривоносого уже не с раздражением, а с симпатией даже:

– Простите, я вчера обозвал вас... про себя, конечно... крапивным семенем. К вам не подступись. Вы такой весь колючий. Не обижайтесь, ладно?

Асеке никак не выразил своих чувств. Молча застелил постель, молча вытащил из-под подушки томик Достоевского (ничего себе – «колыбельная»!), затолкал его в свою «сумку бед» и, всё так же невозмутимо, посмотрел на Бекета своим холодноватым взглядом:

– Крапива жжет, конечно. Но и лечит. Понимаешь? Лечит, а не калечит.

И, насвистывая какой-то мотивчик, перекинул через плечо полотенце, стал чинно спускаться по лестнице вниз. Что ни говори, подумалось Бекету, а эта черная саксаулина, что скособочилась, как верблюд со съехавшим на бок тюком, с этим перекошенным плечом, непростая штучка. Ох, непростая!

Раскисшая улица пенилась, как шкура в дубильне. Белесый туман стоял за коулками, лез во все щели, глушил даже шорохи. Дождь отшептал свою ночную проповедь, взяв тайм-аут до вечера. В гнилом углу не виделось просвета. Проезжая мимо кузницы, он глянул на станок для ковки коней и вспомнил про своего саврасого иноходца. Хорошая животина, он двух лошадей отдал в обмен на нее. Как он там один, без меня?.. И надо было мне тут заночевать! Так вот с лошады расстанешься в время, и сам себя кнутом охаживаешь...

Мимо промчалась группа джигитов. Ненормальные!.. Этим оленеводам лишь бы покуражиться. Несутся сломя голову, а пути – два шага шагнуть. Дальше пантоварки не ускачут, а пантоварка – вот она, рукой подать. Зато из подворотни каждого двора, заходясь в истеричном лае, вылетают дворняги – лохматые да мелкие, как блохи, на коротких лапках – с кулачок. Они тут на подворьях заместо всякой скотины. В совхозном поселке сотня дворов, так поутру из них выходят не буренки с овечками, а собаки, господи прости. И пастбище рядом, и покосы под носом, а народ совсем разленился, позабыл, как пасти скот. Живут в селе, а вроде горожан – от получки до получки, корова редко в каком дворе замычит, бабы и за вымя держаться, поди, разучились. Вместо того чтобы растопить тандыр да напечь лепешек, душистых, пышных, с пылу с жару, они ни свет ни заря бегут в сельмаг за сырым серым хлебом. А его – то ли привезут, то ли нет.

Кто поверит, что у народа, который испокон веку мешками заготавливал сушеные молочные продукты, нынче не найдется ни закваски для кумыса, ни молока плеснуть в чай. Дойные кобылицы совхоза – а их больше ста – зимой и летом пропадали в тайге и, забыв недоуздок, дичали. Раньше необъезженные молодые кобылицы шарахались от человека, когда он шел к ним с бадейкой, чтобы подоить, теперь люди шарахаются не то что от дойных кобыл – от бадейки. Ладно, одернул себя Асеке, пеший конному не указчик, а ты сегодня вроде без лошади... И снова пожалел: зачем я сдуру здесь заночевал?..

К одинокой безлюдной конторе – она как бельмо на глазу у поселка прилипла к дороге – подошел одинокий, всеми брошенный Асеке и сел перед крыльцом. У сельмага тоже ни души, а ведь только им богат был и шумен аул, даже баб не видно – не завезли, однако, нынче сырые буханки, похожие не на хлеб – на саман. У родника, что разделил аул пополам, лежала толстая цистерна, как свинья, зарывшаяся в грязь. Старенький тупорылый трактор «Беларусь» притарахтел к цистерне, нащупал у нее вонючее резиновое вымя и принялся сосать солярку. Напившись, отвалил, повлекся прочь. Но, видно, пережрал солярки, срыгнул излишки, окрасив поверхность родника зелеными жирными пятнами, течением их лениво потянуло в речку. Вот так у них во всем, прет через горло. Куда ни глянь, везде споткнешься взглядом об остов сломанного трактора, косилки, грузовика. На каждом шагу железные скелеты павшей техники, как ребра и хребты сдохших от джута коров. Глаза бы не смотрели.

Из коттеджа наконец-то вышел, охорашиваясь, прилизанный и напомаженный главный лесничий. Он смотрел вверх крыш и голов, он не видел этого кладбища техники среди живой растерзанной земли. Допустим, его это мало касается, но ведь, черт возьми, любой аккуратный начальник не примется за дело, пока не очистит свое рабочее место от мусора. Э-э, да ты, оказывается, всего-навсего кучехвостый лесхозовский мерин, что возит бревна!..

Стоило Бекету появиться на улице, как из гаража, чахоточно кашляя, выехал синий газик главного инженера Сан Саныча, словно бы тот сидел в засаде и лишь поджидал этого момента.

Поношенный, усталый от борьбы со своей тайной страстью и рано постаревший человек. Слава Богу, ноги его до дому доносят, как бы он ни был изнурен этой почти каждодневной борьбой.

– Асеке, как дела?

– Как сажа бела!..

Сан Саныч не без труда вытащил свое грузное тело из кабины, обитой кожей и шкурами. Учítывая перенагрузки, которое это тело одолело вчера, Асеке одобрил стойкость закаленного организма Сан Саныча:

– Ничего, молодцом! Не рассыпался?

В делах Сан Саныч считал себя человеком безгрешным, ипил он тоже с ясною душой, а потому вопрос Асеке отнес не на свой собственный счет, а на счет своей безотказной машины.

– Скрипим помаленьку.

– И сколько ж зим, сколько лет вы скрипите? – не без язвительности спросил Асеке, окидывая взглядом шикарный лимузин, марку которого определить было также непросто, как породу иной дворняги.

– Сколько зим? Пес его знает! – он захлопнул было дверцу, но та вновь с визгом распахнулась. – Передок райцентровский, начинка жандысайская, а задок в Корбихе собрал. С миру по нитке – голому рубашка, а зад нечем прикрыть. Машина-то не на балансе, ее как бы нет, и запчастей к ней не дают.

Он возился с дверцей с таким остервенением, будто это было делом принципа, и пока не переупрямил ее, как норовистую лошадь, не захлопнул, не мог успокоиться.

– Господи, как же ты в этой коптилке ездешь? – Асеке поморщился. – От угара можно сдохнуть. Да заглуши ты ее наконец!

– Да? А как я заведу ее потом? Я чуть ли не с вечера копался в ней, пока она затарахтела.

Сан Саныч кинулся здороваться с главным лесничим, и в этот самый миг машина, как назло, еще раз рыгнув синими клубами гари, заглохла самопроизвольно, вопреки воле хозяина исполнив просьбу Асеке. Сан Саныч бросился было в кабину, чтоб оживить тарактелку, но дудки вам! Дверца, которую он с таким трудом закрыл, теперь не открывалась.

– Тьфу! Опять придется искать трактор!..

На дверях конторы висел громадный, как казан, черный замок, и всем троим пришлось сесть на лавочку под навесом. Туман, будто юбка накрывший Аксу, чуть приподнял подол, показал гнилой угол, где опять гроыхало и творилось черт-те что.

– У нас всё не слава богу: то густо, то пусто. Три года не было дождя, так теперь компенсация будет, – начал было пророчествовать Сан Саныч.

Асеке тут же ввернул ему претензию, будто тот был уполномоченным Господа Бога:

– Никак по твоему заказу! Гром в марте – это знаешь ли... ты, поди, выбил спецфонды в небесной канцелярии? Ты ведь мастак по этой части. У тебя как у той кобылы, что ожеребилась впервой: жеребенок лезет к титьке за молоком, а она ссыт ему на морду.

– Я-то при чем здесь? – начал оправдываться Сан Саныч, впрочем, тут же и огрызаясь: – А что это наши егеря, как паршивые клячи, норовят обо всех потереться, всех паршой своей наградить?

– А по чьей милости мы запаршивели? Вы в лесхозе коневоды вишь какие славные! Под тобой единственная кляча, – Асеке презрительно кивнул на чудомашину, – и та чахоточная!.. Кстати, а где твой «москвичонок»? А-а, запер – не хочешь гонять по служебным делам. Своя рубашка ближе к телу.

– Ой, перестань, а? От «москвичонка» этого пользы, как от козла молока, – Сан Саныч досадливо махнул рукой. – Не машина, дрянь. Только асфальт признает. Дочке отдал, по городу ездит.

– Дочке? Ну и ну!

– А что?

– Она же тебя без штанов оставит! Свадьбу ты ей отгрохал. На приданое отвалил бог знает сколько, теперь и машина туда же. Ну и ловкачка она у тебя!..

– Ладно... Я мужик, я перебыюсь. Мужик хоть ишака оседлает – уже джигит. Я и на этой развалюхе поджигитую. А «москвичонок»... он дочке нужнее.

– Давай, давай!.. По моим подсчетам, тебе надо готовить еще пять-шесть легковушек. Там уже внуки подрастают, потом правнуки подоспеют...

– Отвяжись, а? Ты сидишь, как бирюк на заимке, и тебе кажется – все должны жить бирюками. Тебе уж под сорок, пора бы уцепиться за подол какой-нибудь бабы!..

– Все вы мастера давать советы... – Асеке умолк, замкнулся.

Сан Саныч досадливо крикнул, поняв, что наступил человеку на большую мозоль, и с неуклюжей готовностью засеменял за рыжей девицей, долговязой и голенастой, она принесла ключи от конторы...

Что за народ? Кому какое дело – женат я или одинок? Нет, лезут со своими советами, а то еще хуже с жалостью, да еще обижаются, когда их шуганешь от себя. Неужели понять не могут, что их сочувствие как вода в дырявой кружке – ни напиться, ни умыться, а только сырость развести. Тьфу!..

Асеке и впрямь в сердцах плюнул под ноги и в смущении повернулся было к Бекету, сидевшему рядом, но с трудом удержался, чтобы вдругорядь не плюнуть. Бекет напыжился, как бык-производитель у входа в коровник, где его ждут непокрытые телки. Еще один начальник. Ишь как сидит! Восседает. Не морда – будка милицейская.

С истошным ревом, располосовав уличную хлябь, к конторе прорвалась – иначе не скажешь – бортовая машина с пошарканной синей кабиной, по-своейски кличут ее кто «синюха», кто «лысуха» (фургона-то нет на ней, одни металлические ребра, на которых когда-то был брезент), а кто и «синяя лысуха», соединяя в одно целое выдающиеся качества машины. Рабочих не было в открытом кузове – так, две-три бабы, что решили проветриться до магазина и языки почесать от безделья, чтобы быть в курсе последних событий.

– Дядя Асхат! Автобуса нет и не будет. Зря ждете, – еще из кузова сказала пухлая бабенка в брюках, они едва не лопались, пытаясь удержать в своих пределах ее ядреный, толстый зад. Особенно когда она спускалась из кузова, создавая опасный для «лысухи» крен и подминая задницей округу. А ведь лет ей немного, еще не замужем, но выглядит – квашня-квашней. Чьих она будет? А ничьих. Она нездешняя, здешние поаккуратней, пофигуристей, но их сплавляют на сторону, а сюда завозят таких раскрасавиц.

Печалью раскрасавицы был не автобус, не дядя Асхат, а этот парень незнакомый, что на лавке сидит, ни на кого не глядит, а дает всем смотреть на себя.

– Дядя Асхат! – она болтала дерматиновой сумкой на длинном ремешке и щупала глазами предмет своего интереса. – Я ж говорю: автобус не придет.

«Да замолчи ты, трещишь, как сорока! – поморщился Асеке, но вслух ничего не сказал. – Не придет и не надо...»

Оно, конечно, была коробочка с синим ободком, о четырех колесах, что раз в неделю, натужно воя, приезжала в аул и, обменяв пассажиров – тех, что приехали, на тех, кому надо уехать, всё с той же усталой натугой отчаливала восвояси. В такие вот ненастные дни коробочка обычно застревала в Печах, и хоть поселок тот рядом, но одолеть вот эту вязкую дорогу по Аксу коробочке было, видать, не под силу. Э-эх, если уж не повезет, так и кумыс не скиснет, и водка прокиснет. И жаль ему было не того, что автобус не пришел, а того, что сам он сюда заявился ни свет ни заря, как бабы эти бездельницы. «И зачем я здесь заночевал?!»

За семь лет Бекет много чего насмотрелся в тайге, пообвык, пообтерся, народу всякого повидал. Но такого аула, как этот Аксу, где намешано люда разномастного, разноязыкого, ни разу не встречал. Хоть и уставился поверх голов, но взглядом зацепил задастую безродную деваху, что взад-вперед ходила и лупала на него. И, не отрывая глаз от неба, буркнул Асеке:

– Что, и невесток тут выписывают по разнарядке из других краев?

– Заметно, да? – хмыкнул тот. – Мне этот поселок напоминает бабу, у которой бешенство матки, она от ста мужей ушла. Хотя поселок тут, конечно, ни при чем. Его столько раз передавали из одних рук в другие!.. В последний раз году в пятидесятом из Алтайского края опять вернули в Казахстан. А новая метла метет по-новому, другие порядки, другое начальство: мол, вы тут привыкли жить на дармовщинку – ничего не делать, только деньги получать. Многие тогда из русских ушли в Ойман, а те, что остались – с десятков дворов, пчелами занялись да охотой. Ну, это наша кержацкая родня – такие как Сан Саныч... У тебя есть семья?

– С семьей у меня напряженка.

– То есть?

– Не было и нет.

– Одной печалью меньше.

Асеке выщелкнул из пачки «Шипки» сигарету, прикурил, затянулся табачным дымком. Бекет смотрел на его тонкие пальцы и смекал, что такими топор не очень-то удержишь – такие больше приспособлены для струн домбры и для иной, не менее тонкой работы.

– Что замолчали?

– А толку что говорить? Кому это надо, кому интересно?..

– Хотя бы мне. Я не из праздного любопытства расспрашиваю.

– Коли так, посмотри вон-он туда – видишь, дом из красной лиственницы.

Крепкий домик, красивый. В нем молодая поросль этих двух аулов. Смекаешь? Восьмилетка! Девять учителей – это тебе не шалай-валяй. И все девять – выпускницы КазПИ и ЖенПИ. Окончили они казахский факультет, занятия ведут на русском языке... Как тебе эта молодка? Она места на тебе живого не оставила, всего ощупала глазами. Она оттуда, из этого терема. Педагог! Дома она говорит на родном языке, в школе шпарит на так называемом русском – насколько она его знает, а на улице на каком языке она изъясняется – так вот просто не скажешь.

Как там классики говорили: смесь французского с нижегородским. Ситан рядом с ней Цицерон. Дай Бог, чтобы во всем ауле человека два выписывали газеты или там журналы на казахском языке. Во-он, видишь – книжный магазин, а развалюха рядом, ее и за мазар принять неловко, это библиотека. В ней ни одной книжки на казахском языке. Хотя... Что я говорю – книжки? Нормальный человек туда носа не сунет – разве что алкаш забредет по ошибке... Что – дальше говорить, или как?

– Не говорить надо – писать в Минпрос!

– Да писали уже, писали...

– Кто? Вы?

– Тебе-то что за дело – кто! Кому надо, тот и писал. Но!.. великое дело – иерархия ведомств. Минпрос вернул все письма облоно – облоно, естественно, в районо. Районо капнуло в райисполком: дескать, есть люди, что авторитет аула подрывают... Короче, районное начальство было недовольно: что за критика снизу? Хочешь жить, живи спокойно – не мешай другим. Ткнули писака в зад кочергой – да горячей, да в золе!..

– И что? Если у вас хоть один поросенок сдохнет в тайге, вы с ног собьетесь. И депутата найдете, и начальство поднимите на ноги. Еще бы! Это же поросенок, а не какая-нибудь школа или изба-читальня!..

– Вот-вот, я и говорю: пусть директор совхоза почешется. И депутат он, и руководитель! Ему и карты в руки...

– Что ж, пойдете в контору. Вместе поплачемся.

Бекет мрачно встал со скамейки. Как чурбачок для рубки дров, остался сидеть Асеке в одиночестве. Ни души. За спиной сорвавшиеся с петель конторские двери вели тоскливый разговор с холодным мартовским ветром, и от этого скрипа саднило душу Асеке. «Нет, ну зачем я здесь заночевал?»

Асеке с силой провел ладонью по физиономии, как бы натягивая на нее свой кривой нос, что делал его лицо – его лицом, встал со скамейки и двинул через дорогу в свою ночлежку. Сапоги, что с чавканьем месили дорожную грязь, казались, влекут не брэнное тело, а неприкаянную и сиротливую душу.

5

Бекет сидел в кабинете, зябнул, и ему всё казалось, что он кого-то потерял, кого-то ждет не дождется, а кого – вспомнить не может. Сан Саныча? Нет, тот пришел, поторчал без толку, ушел. Директора? Но тот до сих пор еще не объявлялся, он его в глаза не видел, и никому не известно, когда директор вернется из областного центра. Надо бы пригласить лесничих и лесников, объездчиков и пожарных, но никто не представил его, не ввел в курс дела, хотя бы в общих чертах – мол, вот твое рабочее место, а вот твои подчиненные. Вспомнились недавние друзья: таежники-калымщики Жакуп, Бескемпир, Мишель... Имена вспомнились, а лица – нет, лица стерлись из памяти. Стой, кто ж ему нужен, кого он потерял?.. Так и не вспомнив, он взял в руки папки, принесенные Сан Санычем.

«Аксуйское лесное хозяйство. Организовано в 1932 году. До этого территория находилась в ведении Карагайлинского леспромхоза Наркомлеса Казахской ССР. К 1947 году лесной массив, пока не перешел в распоряжение лесхоза, был во всех доступных местах вырублен подчистую и вывезен плотами по реке». Даже так – плотами по реке. Можно подумать, что сейчас они таскают лес на

собственном горбу!.. Это же уму непостижимо: то, что вырублено за пятнадцать лет, и за пятнадцать веков восстановить не удастся... «Территория лесхоза находится на высоте 600-3200 метров над уровнем моря. Общая площадь 289 669 гектаров, из них 80 796 отданы колхозам и совхозам в длительное пользование. Связь с облуправлением и между лесничествами – телефонная и по радию. Лесхоз разделен на шесть лесничеств, расстояние между ними – 30-70 километров. Ближайшая железнодорожная станция в двухстах восьмидесяти километрах. Транспортировка: автомобилей – 31, в основном приспособлены для перевозки леса; разной техники – 30 единиц; спецмеханизмов для обработки земли и лесопосадок нет. Из основных отраслей хозяйства в наличии имеется: шесть цехов ширпотреба и промысел по подготовке химсырья; вспомогательные хозяйства: пять пасек, две отары овец, пятьсот лошадей, молочная ферма. Исходя из потребностей лесхоза имеются пастбища, а также угодья посевные и сенокосные, из них девяносто восемь процентов природных; орошаемых земель – полтора процента. Основным источником доходов является питомник – полтора миллиона прибыли в год, продукция его идет во все концы Советского Союза. Общее число рабочих, служащих, специалистов – 135, из них механизаторов – 54. Обеспеченность кадрами – 78 процентов. Фауна лесхоза представлена 135 видами птиц и животных, из них 49 – млекопитающие, 86 – птицы; млекопитающие делятся на семь семей и один отряд...» Асеке... Вот кого я потерял – вот кого мне не хватает!..

Скрипнула дверь. Он обрадовался, что сейчас в ней появится кривоносы́й профиль лесничего... Вошла главбух Менсулу, поставила на стол поднос с пиадушками и заварным чайником. «С малиной», – произнесла она всё ту же фразу, будто других не знала. И повторила свой вчерашний демарш – пятак, вышла задом... Нет, не хотелось ему чая! Он вышел на крыльцо. Дул северный пронзительный ветер, он перехватывал дыхание, обжигал легкие. Входная конторская дверь стонала на ветру, царапая слух, сверля мозги: и почему она не закрывается? Я же трижды ее притворял. А может, специально? Чтобы все знали, мол, контора открыта, все на рабочих местах. Может, он закрывал, а главбух открывала следом? М-да, кадрами лесхоз обеспечен на 78 процентов... А где остальные 22? Нету их и не будет. Кто сюда поедет – в глушь да на мизерную зарплату? Тут выживают только те, кто приспособился держать скотину и с помощью ее сводить концы с концами... «Из 761-километровой дороги лишь 81 километр с гравийным покрытием...» Значит, считай, полгода поселки отрезаны от мира, не только люди мучаются – собаки в пору течки звереют, не зная, как добраться друг до друга!.. Куда уходят лесные фонды? С одной стороны их, видимо, съедают кочевые лесспромхозы, с другой – пожары, тушить которые не представляется возможности из-за плохих дорог..

У пилорамы, с утра жужжавшей как оса, хлопотало три-четыре человека. С приходом главного лесничего они отключили ток:

– Перекур!

Две бабы пыхтели тут же у мешков, насыпая их будто мукой опилками, трамбуя, уплотняя пинками и по-мужицки споро взволакивая на телегу. Из-под подолов коротких платьев мелькали темно-красные икры полных ног.

– Почему без спецовок? – спросил Бекет у старшего пилорамы.

Пока тот снимал брезентовые рукавицы, отряхивал ладони, собираясь отвечать, загорелая краснорожая молодая женщина, сверкнув глазами, объявила:

– Пока спецовку снимешь, у мужика охота пропадет. Понял? Дойку могу пропустить.

Ее напарница, не столь острая на язык, но тоже здоровая как нетель-трехлетка, прыснула в кулак и, взяв под уздцы низкорослого гнедого, понукнула его. Тот даже крикнул от натуги, пошатнулся, трогая с места телегу. И Бекет подумал, что среди прекрасной половины этого аула балетную труппу набрать бы не удалось.

– Куда деваете опилки?

– Опилки?.. О-о, это ценный продукт! – заважничал старшой, будто он стоял не у пилорамы, а у драги, черпающей золотоносный грунт. – Во-первых, можно печи топить, а можно мясо вялить. Во-вторых, бабы наши уже сейчас, не гляди, что мороз прихватывает ночами, в огородах кучками насыпают опилки, делают в них лунки, заполняют землей и высаживают эти... огурчики?

– Какие огурчики?

– Обыкновенные, – пожал плечами старшой и в удивлении уставился на Бекета: придуривается начальник или в самом деле не знает? Края глаз у мужичонка вспухли, были красными – трахоматозное воспаление, профессиональная болезнь всех лесопилов. – Огурец он и есть огурец.

– Понятно, – сказал Бекет, думая о том, что нужны и очки, и спецовки. – А бадран не садите? Они с огурцом из одного семейства. Родня, так сказать.

– Да? Нам-то почем знать, что они родня? Тут не то что в огуречной – в своей родне путем не разберешься. Ишь ты – бадран!.. – иронично скривился старшой, обнаружив если не кровную, то духовную родственную связь с кривоносым егерем. Ох, и язвы они тут все!..

– План какой на день?

– По-разному. Смотря какой заказ.

– За день сколько тонн опилок набирается?

– А кто ж их взвешивал! У нас бревно идет немерянным, а тут – опилки... бадран их задери!

Нет, ну язва, а?

Парни сели рядком, закурили. То один, то другой нет-нет, а потирали тыльной стороной ладони красные, загноившиеся глаза.

– С завтрашнего будем не только бревна замерять, но и опилки взвешивать. И всё до последней горсти отправлять в лесопитомник. Вода – и та на учете! А древесина... тут ни грамма потерь быть не должно.

Старшой не проронил ни звука. То ли согласился молча, то ли так же молча послал его куда подальше. И, тоже молча, встал, перевел рубильник в рабочее положение, пилорама истошно взвыла, и ненасытно закрутился ее диск.

– В этом году проверялись в медпункте?

Парни, опять не говоря ни слова, надели рукавицы, взяли багры, топоры, принялись за работу.

– В течение недели всем пройти осмотр у глазного врача. И чтобы никто не подходил к пилораме без защитных очков. Иначе придется открывать позорный трахоматозный диспансер!

Подобно кошке, ухватившей зубами голову змеи, клыкастый обруч лебедки намертво вцепился в толстое бревно и с неудержимостью потащил его к воющим зубцам пилы. Парни явно хотели отделаться от главного лесничего, выжить его с помощью этого визга и скрежета. Наивняк, не на того напали: бывалый

калымщик, он засыпал, случалось, под визжанье бензопилы, для него это вроде колыбельной. Он и ухом не повел, отрешенно стоял какое-то время, потом закурил и, лишь спохватившись, что здесь не то что курить – спичкой чиркать нельзя, быстро вышел.

Он обошел все цеха, заглянул в автопарк, там тоже два молчаливых и угрюмых парня, откинув капот МАЗа и выставив зады, по уши ушли в нутро машины. Первый визит в цеха и подсобные службы не задался, и он пешком поплелся в питомник, до которого было два километра.

Здесь работало до полусотни женщин. Весна весной, но день был холодный, промозглый, а женщины голыми руками копались в земле, лица их были худы и хмуры, одежда вся о сорока заплатках, и хоть они были разного возраста, но печать безнадежности делала их неотличимыми друг от друга, и в горьком изломе бровей цепенела тупая покорность. На него никто не обратил внимания – мало ли кому придет в голову шататься среди бела дня без дела? Где-то поблизости должен быть учетчик, по обыкновению, наверное, горлопан, нахалюга и лодырь. Горлопан оказался робким и забитым парнем с едва пробившимся пушком над верхней губой, он тише мыши сидел во времянке чуть ли не в обнимку с той разновидностью печи в служебных помещениях, которую называют контрамарка. Он шмыгал носом, сопель одолевала его даже в тепле, а как вышли на улицу, его стал бить от холода колотун, он пританцовывал, будто босой стоял на льду, и ляскал зубами.

– Почему у людей нет спецовок?

– Да выдавали им! Они их съели.

– Как это... съели?

– А как всегда. Пошивочного цеха нет, вот и дают им деньги, чтобы шили сами. А они не шьют, они их проедают. Да что с них взять! Сезонные рабочие, им бы только зашибить копейку.

– Надо потребовать, чтобы шили!

– С кого требовать? Одинокие бабы – с ними, что ли, воевать?..

– Ты тоже из сезонных?

– Нет. Мне до армии надо перебиться. В этом году заберут...

– Директор питомника где?

– Директор? У нас его нет.

– То есть?..

– Дядя Сигат на зарплату директора взял трех рабочих.

– Постой, а кто же за директора?

– А дядя Сигат.

– Ладно. Где агроном?

– Какой агроном? – лупал глазами парень.

– Что... тоже дядя Сигат?

– Ну да, а кто же еще?!

– Может, ты перестанешь плясать?

– Так ведь холодно... Бабы как только уйдут, я сразу домой побегу.

Р-работничек!.. И Бекет отпустил его – в тепло, к печи, но тот вдруг прилип к нему с вопросами:

– Вы тоже комиссия?

– Что – часто проверяют?

– Да каждый день. То из района, то из области, а то – из Алма-Аты.

– А что проверяют?

– Пес его знает!.. Всё спрашивают, сколько дядя Сигат получает да сколько у него жен...

– И сколько он получает?

– А я почему знаю!

– У него что – много жен?

– Да ни одной!..

– Эй, балаболка! Хватит считать чужих жен! – заорала одна из бабенок, что копалась в земле с этого края. – Иди, прими работу. А то кишка кишке телеграмму шлет, желудок весь скукожился. Да и поздно уже.

Женщина голыми руками очищала крохотные саженцы кедра, прикрытые опилками. Она совком сняла грязь с подошвы кирзового сапога, зло швырнула совок. Лицо ее посерело от холода, но хмурая неприветливость и зябкость не могли скрыть миловидности ее лица. Неужто и эта мыкает безмужнюю долю?

– И сколько же в месяц? – спросил он ее.

– Чего – мужиков, что ль, пропускаю? Роту.

– Я про заработок спрашиваю.

– Зарботок... – проворчала она. – Сколько заработаю, все мои, – и вдруг окрысилась на него. – А на кой ляд тебе мой карман? Я сама в нем сосчитаю всё что надо.

– Да это я... по долгу службы.

– Ну, если по долгу службы... Бабы тут работают круглосуточно, так что вечерами не шастай один.

– Почему?

– Потому! Бабы все одиночки и брошенки.

– Ну и что?

– Изнасилуют, вот что. И голову сунут в унитаз.

Говорила она вроде полушутя, но с угрозой. А главное, женщины вокруг не смутились, не улыбнулись, мрачно выслушали и, как по команде, устремились к поселку – будто их на привязи держали, и с привязи той они сорвались. Бекет остался было один, но вдруг увидел, что его давешняя собеседница идет и походя лупцует по затылку лупоглазого парня:

– Держи язык за зубами, не мели им как помелом!..

И от этой свары, почти что драки, Бекета передернуло. Жизнь других его мало касалась. Сытый, не обремененный грузом личных забот, он не задумывался, чем люди живы, как они сводят концы с концами, как уживаются друг с другом. И, может быть, впервые в жизни он почувствовал ответственность за них, и ему стало страшно...

А вечер, оказывается, не зря дул с настойчивой злостью – небо очистилось, и лишь в гнилом углу прятались редкие тучи. Большак, дойдя до Аксу, резко обрывался, и, казалось, вместе с ним обрывалась и сама жизнь. За Аксу тянулась горная гряда и простиралось голубое небо. Лишь неряшливые следы лесовозов, что напролом таранят тайгу, да редкие звериные тропы разбрелись по горам, по долам. И как граница мира – массивная глыба горы Кокжота, что словно преградила путь всему существу на земле. То ли небо низкое, то ли Алтай чрезмерно высок, но стоит Кокжота, подпирая небо, хоть и прозвали гору-великаншу всего

лишь навсего холмом¹, но это явно с перепугу, чтобы она хоть в названии была чуть ниже. А Кокжота, чем дальше от нее отходишь, тем выше вырастает. И даже вовсе от нее уйдешь, она скроется с глаз, но в памяти еще долго высится, засты небо и разрастаясь в душе, и заполняя душу. И где бы ты ни был, но от своей Кокжоты, что заполняла душу, уже никуда не уйдешь, и будет тебя неодолимо тянуть в этот край света, как тянет человека в отчий дом, потому что здесь твоя малая родина, что даровала тебе жизнь на бескрайней земле.

А из гнилого угла опять ползли тучи, они как вьюшка в печи надвинулись сверху на аул, даже дымы из труб не шли, прятались в дымоходах. И сотня домов жалась к улице, будто козы, которых привязали к одной веревке, и они мекать не смеют от страха. А по крохотной улочке зудит букашкой «синяя лысуха», тащит на буксире чахоточный лимузин Сан Саныха... Можно подумать, что кроме возни с этой машинёшкой главному инженеру и делать-то нечего больше. Да и то! Тарахтит «лысуха» – хоть какое-то движение в предгрозовом оцепеневшем мире. Казалось, закричи сейчас – даже эха не будет, голос безответно увязнет в забытой богом горной глухомани, и может, правы были наши предки, считая, что Аксу – тупик земли, здесь обрываются все пути и дороги. Господи, как же нас занесло сюда и как это мы не сгнули до сих пор, уцелели?..

Лужи затянуло ледком, земля отвердела, пряди туч путались в вершинах елей. Если Асеке не ошибся в прогнозах, неделя кончится снегом. Бекет, одиноко спустившийся в сумерках с холма, потянулся к ослепительно сверкающим окнам конторы.

Что-то изменилось здесь за это время. Люди явно припозднились на работе. Они расходились, тихо ступая и шушукаясь. «Приехал», – донесся до слуха Бекета чей-то шепот.

Директор сдержанно улыбнулся, крепко, хотя, пожалуй, чересчур официально пожал руку, ничего не расспрашивая. И лишь когда Сан Саных с явной неохотой вышел из кабинета, директор спросил:

– Как родители, живы-здоровы?

Спросил как бы походя, вежливости ради.

– Родители в норме...

– Отец все также благоухает «Шипром»? Или перешел на французский одеколон?

Бекет вздрогнул, будто ему иглу вогнали без предупреждения:

– Вы знаете... отца?

– Есть немного... Конечно, не льщу себя мыслью, что он мне передал привет, – губы Сигата дернула улыбка, и Бекету почудилась невольная издевка. – Приветвы таких людей слишком дорого стоят.

Он, слегка кивнув головой секретарше, давая понять ей, что она может идти, – та как раз заглянула в дверь уже во всеоружии, навьюченная сетками и сумками. Впрочем, было видно, директор что-то недоговаривает, и даже за этими мало-значными фразами кроется нечто большее, чем просто вежливые, по случаю, вопросы. Хотя тут на лице директора промелькнула и досада на самого себя, и стало ясно, что впредь он не позволит себе подобным образом проговориться.

С первой же минуты между ними возникла неловкость. У Бекета было такое чувство, будто он в чем-то провинился перед Сигатом. И если минуту назад, входя

¹ Жота – холм.

в эту дверь, он с трудом втиснул в ее проем свою значительность, то сейчас ощутил себя пигмеем, стал шарить по карманам пиджака и брюк в поисках сигарет, ища глазами при этом пепельницу, а не найдя ее, вдруг понял, что здесь и в помине нет даже духа табачного дыма, от этого он смутился еще больше, и неизвестно, как он одолел бы это свое дурацкое состояние, но раздался спасительный звонок телефона, Сигат взял трубку, и каждый из них смог заняться самим собой.

– Слушаю... Спасибо. Всё хорошо. Да, только что переступил порог. Что?.. А может, не стоит темнить? Выкладывайте уж сразу всё как есть. Так... Я записываю.

Сигат, зажав трубку между плечом и ухом, что-то записал на листке календаря и долго слушал телефон, весь уйдя в то, что ему говорили, и как бы забыв о присутствии Бекета.

– Да, да, слово к делу не пришьешь. Вам нужны документы? А официальные выводы двух комиссий? Там же черным по белому записано: на территории лесхоза нет деревьев, годных для рубки. План прошлого года? На двадцать пять процентов... Не хвалить меня надо за это – ругать! Да вы лесхоз ободрали как липку, а вам всё мало, вам всё козни какие-то мерещатся... Вот вы сигнализировали в Алма-Ату... да ладно вам, не отпирайтесь, из песни слов не выкинешь. Так я по вашей милости полтора месяца потерял, меня проверяли и перепроверяли. И знаете, какое хищение обнаружили? Один рубль сорок семь копеек! Это я у лесхоза украл за двадцать лет. Лихо вы меня вывели на чистую воду – крупного жулика поймали! Но мой совет: аккуратнее надо обтяпывать такие дела. Шпион, которого вы приставили за мной, прибыл раньше меня в Алма-Ату и немного пересуетился. Заседания бюро еще не было, а решение уже было готово. Ах, впервые слышите об этом! Да если бы министерство не решило вопрос в мою пользу, вы меня тут же упекли бы, куда Макар телят не гонял. Ой, да бросьте – всё я знаю, и шпионов, в отличие вас, не содержу в своем штате... Что – хватит, да? О деле – так о деле: нам нужна одна анкета, намекните о ней второму секретарю. Из среды рабочих, говорите? Ну, это ваши проблемы, а я парня вытащил из Алма-Аты. Один знакомый. Практик, семь лет тащил хомут в леспромхозе, он только-только занял должность в министерстве лесного хозяйства, и должность большую, а я его сдернул. Ясно? Пока!..

Сигат бросил телефонную трубу и долго сидел в оцепенении, теребя усы и думая думу, видать, не из легких.

– Что за привычка? Сами же звонят по делу, и я же из них слово клещами вытягивай!.. Райисполком осенило – построить пионерский лагерь. Для себя. Нужен строительный лес. А где его брать? В лесхозе, где ж еще! Что скажешь на это, главный лесничий?..

А что говорить? Райисполком решил, дал указание – и думать нечего. Или что он имеет в виду: найти дорогу, чтоб и телега осталась цела, и быки подошли?.. Ну, анкету он просит из райкома, судя по всему, для Бекета. Смотрите-ка, не успел я в должность заступить – и такая честь!.. Отец все уши прожужжал: вступай, мол, я под боком, пока есть возможность – я, мол, анкету тебе раздобуду... Что ж, наверное, такими и должны быть первые шаги человека, который хочет чего-то добиться. Ну-с, товарищ главный лесничий, давай – шевели своим чердаком!..

Пока он просеивал эту информацию сквозь сито своей еще малоискушенной души, директор встал, собрался уходить, роняя походя вопросы:

– Устроился пока не очень?.. А как насчёт шахмат?

– Да... чуть-чуть.

– А бильярд?

– Чуть-чуть.

– Ну-ну! Посмотрим, что у тебя за сноровка, чего оно стоит – это твое «чуть-чуть»...

Или опять я сказал что-то не то? Тут, знай, держи язык за зубами. А с другой стороны, это что же – только такие вот шишки могут разглагольствовать и упражняться в красноречии, а ты и слова не скажи? Ничего себе – разделение труда! Хозяин кнутом пощелкивает, а раб – лопатой шуруй.

Директор уже надел свой полушубок – коротенький воротник из мерлушки, борта, карманы и полы тоже оторочены мерлушкой, а венчала эту щегольскую одежду беличья ушанка с торчащим хвостом. Старый холостяк, он знал толк в таких-то делах, не отставал от моды. Не только здесь, в глухомани, но и в самой столице мало кто мог поспорить с Сигатом в смысле щегольства в одежде. Был в нем некий шарм, невесть как уцелевший с прошлых времён и приноравливавшийся к нынешнему дню. Старик? Да ничуть не бывало! Как там его пригвоздил Аске? «Старый мерин, он и забыл, поди, какого запаха зад кобылицы!..» Если и мерин, то уж никак не старый, да и не мерин, а добрых статей бывалый скакун. Высокий, подтянутый, спина широкая, богатырский разворот плечей. Такого так и хочется поднять на пьедестал. Впрочем, он сам в свое время поднялся, и сходить с пьедестала не собирается. Его румяному, холеному лицу, его гладкому лбу очень шло серебро его седой шевелюры. С легкой горбинкой нос, что жадно ловит звуки и запахи жизни, аккуратные усики, прозрачные глаза, излучавшие холодноватый, но редкостный свет, который был не знаком равнодушия, а тёплым светом доброты. Прошло немало лет с тех пор, как умерла жена Сигата, и остался он один на земле этой грешной. В свое время он не чурался радостей жизни и отдал обильную дань и веселью, и пылким любовным страстям, но с уходом из жизни жены он, казалось, забыл навсегда об этом.

– Пятнадцатый – в угол! С богом!.. Где он там, четырнадцатый, прячется?

Сигат показывал класс игры, коим владел он настолько искусно, что вполне мог играть в бильярдной столичного парка. Каждый шар он загонял в лузу особым манером, и делал это на редкость изящно. Даже проигрывая ему и проиграв, всё равно получаешь наслаждение. Такие кии, одинаковой длины, красные, в полоску, Бекет уже где-то видел. Ошибиться было невозможно, на них как бы стояло личное клеймо одорукого маркёра из загородного санатория некоего очень уважаемого учреждения, того самого санатория, где отец дважды в год, весной и осенью, имел обыкновение отдыхать. На память пришел короб с киями отца, который он заботливо приторачивал к чемодану, собираясь за город. Отец играл с натугой, будто последнюю корову ставил, и если проигрывал, мрачнел, сосуды на лице вздувались, он весь день страдал из-за ускользнувшего шара и вел дотошный подсчет побед и поражений. Такой аккуратист!.. «Отец всё так же благоухает.. одеколоном?..» Ничего предосудительного не было в запахе одеколона, однако в устах Сигата безобидный вопрос прозвучал с такой издевкой, что Бекету почудилось, будто на него пахнуло вонючим запахом барана-вожака, которому перевязали хвост кошмой, чтоб не ко времени, в июльскую жару, не начал брачные игры. Одна мысль зацепила другую, и в язвительных словах Сигата откликнулась эхом горькая

скорбь старика Жанжигита. «Всех пострелял, ни одной лошадки в живых не оставил». Что, если в руки человека, который твердо держит кий и с таким азартом гоняет шары, дать оружие?..

– Задумался? – всё внимание директора было сосредоточено на зеленом сукне бильярдного поля. – А ну туза в угол – дулетом!

Туза не положил, свой шар специально оставил в углу и, заставив Бекета выиграть пять очков штрафа, закончил партию. Он испытующе смотрел на Бекета: дескать, и до чего же ты додумался?

– Да вот решаю, как бы вас доставить в парк – к столичному бильярдному столу, – сказал Бекет. – Там вы показали бы класс!..

– Аксу – вот мой столичный парк и класс, на который я способен. У нас есть егеря Асеке. Вот с ним мы и тягаемся на равных.

– Знаю. Он заходил.

– Уже? Медом его не корми, а лишь появится новый человек, он тут как тут. Горяч, правда, молод... Составь шары... Незнакомых людей мы пропускаем через Асеке, он редко ошибается в оценках. Бывает, правда, перебарщивает, тогда уж мы просим за него прощения.

– Камень в мой огород он пока что не бросил. Но мужик своенравный, такого не объедешь на козе.

– Кого только нет в тайге! Жизнь хорошо владеет кием, она как в лузу загоняет сюда людей, будто шары бессловесные... Знаешь, кто такой Асеке? Музыковед. Бывший доцент консерватории. Причем из числа немногих.

Хочешь верь, а не хочешь – проверь. Оно, конечно, можно воспринять и так, что, дескать, и кроме тебя тоже есть люди... Директор опять не положил шар в лузу, чтобы дать развернуться сопернику, и вообще стал играть не всерьез. Старуха Саркыт внесла маленькую синюю чашку, ударило запахом кумыса, который вытеснил все прочие запахи.

– Что, Шер-ага приехал?

– Твой Шер-ага едва ли бросит без присмотра свою токал¹. А кумыс он передал через Сян. Эта негодная девчонка мне мозги пропилила, что кумыс для тебя специально. Вот я и берегла всё это время.

– О чем она думает, эта негодница? С учебой не торопится, никуда поступать не хочет. Замуж тоже не спешит...

– Нашел о ком печалиться! Молодая, смышленная... Не пропадет, пристроится, – Саркыт поставила на низкий столик в комнате отдыха две деревянные чашечки, а рядом с ними положила маленькую расписную поварешку. – Свободная девушка найдет свое место.

– Ты-то не нашла, до сих пор не пристроена.

– А что вы ко мне вяжетесь с кривоносом? Постыдились бы! Мне уж за шестьдесят. Меня теперь, если кто и пристроит, так сам Господь Бог к себе. Или что – трудно будет яму вырыть и старуху в нее закопать? Может, место мое тут кому поглянулось? Так я уйду, скажи только!..

– Всё-всё! Виноват, товарищ сельсовет. Я ничего не говорил, ты ничего не слышала.

Старуха смахнула слезы со щеки, но родинка величиной с горошину еще какое-то время хранила влажный след той нечаянной обиды...

¹ Младшая жена.

– Ладно, размялся и будет. Гонять шары попусту нечего, – Сигат поставил свой кий в гнездо, пригласил Бекета в комнату отдыха. – Беда с ними, с моими ровесниками! И пошутить нельзя, обязательно заденешь болячку. «Сердце мое – сорок заплат». Поэт, как всегда, попал в точку.

Место для отдыха, как иронично сказал Сигат, «место для охлаждения ног», было на первом этаже коттеджа: скромная библиотека, бильярд, гостиная, кухня, двухместная спальня, всё здесь из дерева – кроме, разве что, телевизора и радиоприемника, мебель лесхозовская – может, не экстра-класс, но каждое изделие – штучное, каждое радуется руку и глаз. Диван и кресла обтянуты кожей. Тоже, кстати, продукция лесхозовской мастерской. Что бы ты в руки не взял, оно может служить образцом, как из ничего можно сделать нечто – всё, что душе угодно.

Сигат взболтнул кумыс, пригубил:

– То что надо!

Бекету кумыс показался кислым. И это не осталось незамеченным:

– Не нравится? А это, можно сказать, лечебный напиток: кумыс яловых кобыл. Их кормят овсом, перемешанным с полынью. В корм добавляют мелко нарезанные листья клевера и травку таежную – куренсе.

И добавил не без значения:

– Травки бывают дикими, вольными, а люди – шибко грамотными и недоевольными. Доносы пишут...

– А тебя и запугали, – Саркыт принесла под кумыс баурсаки и сушеный творог-сыкпа. – Стол где накрыть?

– Не спеши, успеется. Кстати, ты ходила в райсобес?

– Провалиться б ему на месте! – опять рассердилась Саркыт. – Они деньги те будто из собственного кармана дают. На худой конец, объяснили бы мне, что к чему, так от них слова путного не добьешься... В войну перед фашистом выстояли, но эти пострашней: у них всякий гад на свой лад – мол, как хочу, так и строчу.

Последние слова она почти что прокричала из кухни, начавши хлопотать у плиты.

Саркыт – солдатская вдова. Когда мужа забрали на фронт, ей было двадцать пять. Немножко знала грамоту, и в те трудные годы была председателем сельсовета. А затем перешла на работу в колхоз. В те переходные, непостоянные времена, когда колхозы укрупняли до совхозов, когда их поселок то передавали Алтайскому краю, то снова возвращали Казахстану, трудовые книжки не велись, и Саркыт осталась без той самой пенсии, какую получают сейчас все. Детей родить не успела, жить было не на что, хорошо хоть, нашла себе место в лесхозе, да и Сигата знала давно. Бекет смотрел на нее и думал, что не одна она такая. Он со вчерашнего дня походил-побродил по поселку, и у него сложилось впечатление, что вдовы чуть ли не всего Алтая да безмужние и бездетные бабы собрались здесь, в лесхозе.

– Я вот поддерживаю этих вдов, даю им как-никак прокормиться, так мне и это ставят в вину. А им ведь не только кусок хлеба нужен. И горе не забывается, кровоточит, и старость надвигается, а с ней – одиночество. Как людям помочь?..

Сигат горестно качал головой, но, пожалуй, вся горечь его вопросов не могла пробиться в беззаботную душу столичного парня – он хоть и помотался по тайге, однако оставался горожанином и едва ли мог осознать во всей мере, что хоть чужая слеза и жидка, но тоже едка. Сейчас он смаковал кумыс, пытаясь постигнуть его целебные свойства.

А директор излагал ему свои печали:

– Меня комиссии одолели, командированные всякие, а у нас в тайге ни гостиниц, ни ресторанов. Я и построил эти коттеджи, чтоб людям из Москвы, из Ленинграда, из всяких высоких инстанций было где остановиться, было где есть, спать. Но и тут кто-то капнул: мол, директор лесхоза всё хозяйство превратил в свою вотчину, всё выкачал оттуда, задабривая проверяющих взятками и угощениями. Вот они, мол, и обеляют его, берут его сторону. Не так обидно было бы, если б капали посторонние, а то свои же строчат кляузы – почти что родичи. За ними следом, понятное дело, районное начальство не оставляет меня без внимания. Эти три коттеджа, как бельмо на глазу, не дают им покоя. Иногда думаю: сжечь всё к чертовой матери, и дело с концом. Так ведь жаль вот их, бедолаг, они и на жизнь зарабатывают, и людям пользу приносят.

Сигат покосился в сторону кухни, где хлопотала Саркыт.

– С некоторых пор мы в эту лачугу чужих никого не пускаем. И рады бы, но... извините, гости дорогие, ночуйте хоть в собачьей конуре!.. Но всё это, в общем-то, мелочи. Тут уже кое-кто настаивает на том, что лесхоз надо вовсе закрыть... Кури, кури. Небось, угар от папиросы не сильнее угара наветов. Я тоже тринадцать лет курил. Молодые даже курить не умеют. Надо, прежде всего, правильно прикурить – не от головки спички, а после того как сгорит сера, снизу большого огня нужно прикуривать. Да и не выкуривай всё до упора, не жадничай: как только слюна к губам подступит – бросай, желание курить утлено. И не кури на улице, лучше сидя дома выкурить две сигареты, чем на улице одну. Почему? А тут всё одно к одному. Самые свирепые враги легких – никотин и сера в совокупности с кислородом. Ученые во всем мире ломают голову, чем заменить эту крохотную с виду головку серы на кончике спички, без которой спичка уже не спичка.

Говорливость его, как понял Бекет, и некоторая раздражительность при этом были элементарной реакцией нормальной человеческой души на лживость злобного доноса. Только что прикурившую сигарету Бекет на всякий случай придавил в пепельнице, оставил в покое. Сметливый хозяин, не заставляя сидеть его зря, тут же повел в столовую, походя вёл разговор о разной разности, но и о главном, – тоже старая привычка, не тратить времени даром, а как бы между прочим знакомить с положением дел, ненавязчиво высказывая свои пожелания и просьбы. Бекет не мог ни слова вставить в разговор и не стремился к этому, молчал и слушал.

– Значит, так: сегодня ты еще гость, а завтра уже постоялец и поступаешь на попечение вот этой ровеснице твоей мамы или женге¹ – это уж как тебе больше нравится.

– Предел желаний, – что еще мог ответить Бекет...

В лютую зимнюю стужу не на каждом столе увидишь свежие огурцы, помидоры, зеленый лук и укроп, а здесь, пожалуйста, такое пиршество, такой натюрморт! Отдельно были поданы рёбрышки – да не просто рёбрышки, а с мясом на них, чтоб можно было, если возникнет желание, их погрызть. Тут же исходила паром горячая лапша в глубокой чашке.

Саркыт царила за своим дастарханом и даже слегка кокетничала:

– Предел желаний или не предел, а деваться нам некуда. Так что отведайте для начала наших разносолов, – и она, не разливая первое, по здешнему обычаю опустила поварешку в озерцо лапши, что курилась ароматом в глубокой чашке:

¹ Жена старшего брата.

ешьте, мол, сколько хотите. – И что же твои проверяющие? Тут хабар¹ пошел, что тебя должны снять, что из области ты вернешься подстриженным наголо и чуть ли не в арестантской робе.

– Снять могут, конечно... А что – на Аксуйском лесхозе свет клином сошелся, нам что – податься будет некуда?

– А можно чуть яснее, а? Скажи прямо, как и что.

– Что сказать? Факты подтвердились, но подтвердилось и другое: доходы всё же поступают в казну лесхоза. Что и требовалось доказать.

– А что требовалось доказать?

– То, что нас так просто не слопаешь, как бы этого кое-кому не хотелось. Мы им не по зубам. Они бы рады прибрать лесхоз к рукам, но... руки коротки – лесхоз не в их ведении.

Лишь теперь Бекет начал кое-что понимать. К примеру, отчего весь аул, от мала до велика, с такой настороженностью, таким недобрим глазом смотрел на него. Как на бродячую собаку, что лезет в их амбар да еще права пытается качать. Нет, ну такую псину и пристукнуть мало. Люди-то не знали, кто он на самом деле. И если Бекет один из тех, кто подкапывается под Сигата, кто хочет опорочить и выжить его отсюда, то он в глазах людей шакал позорный, и гнать его надо поганой метлой!..

Кто-то с грохотом вломился в дверь, да так заполошно, будто за ним гналась нечистая сила, а уж из грохота и шума явилась здоровенная рыжая старуха, волоча на рваных ботах по пуду грязи и вопя, будто оглашенная:

– Эй, девушка с родинкой! Ты чего тут прохлаждаешься? Глянь на нее – с кавалерами кокетничает! Тебя что, сватать пришли?.. У нас там чай давно готов, второй раз его разогреваем, а ее все нет и нет!..

– У вас стынет, как же! Так и поверила... Скажи лучше – под дверь торчала: ждала, когда я стол накрою. Ладно уж, садись!

– Нет, ты глянь на нее!.. – рыжая старуха гневно вперилась в Саркыт, как бы воочию являя собой этот возглас: «Ты глянь на нее!» – Захапала себе подарки шефа и делает вид, что всё так и надо... Так ты пойдешь или нет? Там, слышь, пришла наша девушка от киреев на побывку. И где нас по свету не носит! Но знает корова свое стойло, и где бы пастух ни гонял ее, а к вечеру сама, своим ходом вернется домой... Давай быстрее, все бабы в сборе – ждем тебя.

Если верить рыжей старухе, в этом ауле – одни девушки, которых сватают и которым устраивают смотрины. Не сумев прельстить свою рыжую женге ни едой, ни белым чайником, что томился под лохматым полотенцем, Саркыт тоже не смогла усидеть на месте, засобиравшись на смотрины девушки. Сигат невозмутимо слушал шумливую старуху, как бы не беря в расчет главную причину ее прихода.

Он лишь задал ей один невинный вопрос:

– Газиза, а ты на сколько лет старше Саркыт?

– Почем мне знать? Старше, и всё тут, – ответила рыжая старуха. – Когда я к ним невесткой пришла, она была уже девушкой в соку, но еще не замужем. Ну-у, к ней, бывало, не подступись – всё знает, всё объяснит. Интеллигентка!..

– Чем бы рот заткнуть этой бабе, дай Бог ей здоровья, – смущенно проворчала Саркыт, одеваясь. Старушечки уже оделись, но чего-то замешкали у двери, находясь в непонятном Бекету ожидании. Впрочем, тут же всё и объяснилось, когда

¹ Весть.

Сигат остановил их уже у порога и каждой надел на руку серебряный браслет со вделанными в них часами. Саркыт растерялась, не зная, что сказать, а Газиза, у которой не осталось свободного места на руках от всяких браслетов, щурила глаза, оценивающе разглядывая подарок:

– Это же стоит целого косяка! Нам ли, старухам, носить такие вещи?.. Были девушками, за нас какой калым давали? Разве что паршивую трехлетку... Да продлит твои годы Аллах!

– А ты неплохо знаешь себе цену, – поддела ее Саркыт. – Если тебе так уж невмоготу, сними хоть часть своих железяк!

– Как умру, так и снимешь, и раздашь добрым людям, – Газиза с неприязнью посмотрела на младшую сестру своего давно погибшего мужа и тут же устроила мини-экскурсию, знакомя всех со своими украшениями: – Этот браслет сам отец чеканил, а эти два муж подарил, когда первый раз был тайком на свидании и когда пришел сватать. Теперь вот эти пять... Память о пятерых моих братьях, погибших на фронте. Что – съели? На тебя и собачьего ошейника никто не надел, так что для тебя эти железки мало что значат...

– У-у, разошлась как холодный самовар!.. Пошли, что ли, пока твои бабы не разбежались.

Старухи ушли, и дом как бы лишился жизни. Скрип стульев отзывался бессмысленным эхом, запотевшие стекла пусто зияли, вызывая страх. Оба сидели не двигаясь, говорить не хотелось. Сигат, зашторив окна, потушил люстру, включил торшер в углу, и в тот момент, когда он сунул штепсель в розетку, над крышей будто грохнул выстрел, и небо расколосось молнией и громом. Голубое марево, исходившее волнами от абажура, словно приподняло потолок, и появилось ощущение, что они находятся под сводами гулкового купола. За стеной шумел лес. Видать, ветер пригнал из гнилого угла последние зимние морозы. Казалось, синий абажур торшера излучал вместе со светом холод. В комнате было тепло, но Бекета пробрал озноб. Сигат сидел в кресле, в углу. В голубом мареве света его ковыльно-белые волосы были как саван, а худошавое лицо выглядело будто у покойника.

– Кури.

Закуска на столе осталась нетронутой. Холодно мерцающий нож, не дотянувшийся до горячего блюда, серые ложки да вилки, так и не дождавшиеся едоков. И надо ль было беспокоить бедную старуху ради ненужного ужина, трепать ей нервы своими шутками и успокаивать пустыми прибаутками? И без старухи можно было бы обойтись в пустом вечернем трепе, без нее вскипела бы вода в самоваре и без нее была бы выпита. И сидя в пустом зале, как бы утратившем живую душу, Бекет понял, что жизнь не очень-то нуждается в старухах, зато старухи нуждаются в ней. Он понял, что ради них намеренно устроил всё это сидящий в углу человек, усталый, седой и серый в призрачном свете торшера. Не самоцель же для Сигата и огородная мелочь, и этот райский уголок в ненастной мартовской тайге, и желание царить над обездоленным и одиноким людом.

– Кури.

Спичка не просто зажглась в руке Бекета – она вскрикнула, и он увидел в прорезе шторы чёрта, что сидел, выпуская огонь изо рта. Когда потух темно-красный сполох, ему еще долго казалось, что гость из преисподней не ушел, маячит за окном. В пустом доме от одиночества взвоешь и сам себе покажешься

нечистой силой. Стоит ли удивляться, что старушонки с такой поспешностью заторопились в какой-то дом, где полно баб, наверное, таких же горемык, как эти две?

Если бы директор не позвал играть в шахматы, Бекет не знал бы попросту, куда себя деть. С первых же ходов он решил проверить Бекета, что говорится, на шивовость и предложил ему жертву белой фигуры. Бекет не принял жертвы и в свою очередь взбрыкнул, начав с королевского фланга. Впрочем, оба поняли быстро, что привередничать друг перед другом не стоит, игра пошла всерьез.

– Фигуры ваши похожи на Сан Саныча, – сказал, обдумывая очередной ход, Бекет. – Непробиваемые. И сытые к тому же.

– Это плохо? Твердолобый не ленится на работе, а сытый... он не сделает зла, и народ им доволен. Хозяйство небольшое, но и ему нужен хозяин. Пять пасек, две отары овец, до пятисот лошадей, зелень в теплице... да еще подсобные цеха! Нужен глаз да глаз, и расторопность нужна. Вот жалобщики, – усмехнулся Сигат, – думаешь, они не знают, в каком тайнике лежит лепешка вкусная? Знают. И мы с тобой знаем, что дыма без огня не бывает. И хоть живем не хлебом единым, но ведь и муха набивает брюхо, есть-пить людям надо. А в магазинах – шаром покати. Это тебе не город, это в городе по магазинам порыскаешь и авоську набьешь. А здесь как прикажете быть? Все продукты, начиная с мяса и кончая картошкой-моркошкой, рабочие берут со склада – причем берут по себестоимости. Есть, конечно, излишки, мы их реализуем через рабкооп. И неплохо реализуем, мы не в накладе, мы с прибылью, она идет в казну лесхоза. Кому от этого плохо? Один только лесопитомник приносит в год полтора миллиона доходов. Надо бы радоваться, но... у нас, как в той притче: злой плачет от зависти, а доброму деваться некуда – тоже плачет от собственной радости, будь она неладна. Так-то, товарищ главный лесничий, и сегодняшнее это угощение тоже не бесплатно, и оно осядет в виде рубликов в кассе лесхоза. А как же иначе! Государство – не дойная корова. Ну встанем мы все с ложкой, но кто-то же должен быть с сошкой. Нас тут сто тридцать человек да плюс сезонные рабочие, и всем надо платить зарплату... Шах!.. Я бы у себя в лесхозе пристроил все излишки рабочих рук из соседних сел, если б меня по рукам не били. Жаль, штанов не хватает, а юбки в избытке... Что – коня на согым оставил? Ну, дело хозяйское, я и коня съем, глотка у меня просторная. Так-то, товарищ главный лесничий, мне люди нужны, толковые головы и умелые руки. Сам я тоже вроде не дурак, и недоумкам дурачить себя не позволю. Если дальше будут цепляться, упрекать, что пригреваю сырых, обездоленных, я прямо здесь, в Аксу, открою общество солдатских вдов. А что? Существует же общество ветеранов войны, будет и общество жен погибших фронтовиков... Шах! А-а, у вас контратака? Что ж, отступим, отступать надо тоже уметь... Так-то, товарищ главный лесничий, мы с тобой понимаем, что вдовам нужна не работа, им занятие нужно, чтобы зря не сидеть в четырех стенах, не сохнуть от одиночества. Пока мы живы, мы не имеем права забывать о них... Шах! Куда бежишь? Бежать тебе некуда. Голова визиря отрублена, еще два-три хода, и король твой свалится с трона. Слушай, а ты не намеренно сдался?.. Все сто процентов сезонных рабочих здесь женщины. У них даже трудовых книжек нет, за шесть летних месяцев они, конечно, наскребут кой-какие деньжата, но дальше-то шесть месяцев зимы, шесть месяцев вынужденного безделья. Сиднем сиди у печи, полешки подкладывай да в печку поглядывай, как горит синим пламенем

развеселая жизнь. А она горит, годы не молодят, годы старят. Пенсионный возраст не за горами. А кто им пенсию назначит? Жалкая десятка, которую будут выплачивать по старости, так на нее ноги протянешь. И дело не только в деньгах... Мы вот с тобой, товарищ главный лесничий, за лес Алтая стеной стоим, а за лесом людей не видим. А если этот лес уже не может прокормить людей, которые тут родились, жизнь прожили? Что толку тогда от наших с тобой трепыханий – да и от нас самих какой толк? Нам еще надо доказать свою нужность... Так что – за сучивай рукава и берись за подсобное хозяйство. Питомник должен работать не только летом, но и зимой. И мяса, и молока у нас должно быть вдоволь, чтоб и государству было что сдать. Зелень к столу – это, конечно, хорошо, но этого мало. И пимокатка, и кожевенный цех – пока они обувают-одевают только нас, а надо чтобы и на продажу выбрасывали кое-что... Так я говорю или не так, товарищ главный лесничий? Что приумолк, призадумался?

– Асеке вспомнился.

– О, это личность! С одной стороны, там бравады хоть отбавляй, с другой – он сам себя немного принижает. Но... а что – тайге разве не нужны личности? Оно, конечно, кой-кто думает: тайга для бирюков и сивых меринов...

– Он привез недобрые вести.

– А что?

– Говорит, на участке Аюлы грибок обнаружил.

– Раз говорит, значит, правда. Его нос кривой всё чует... Э-э, Аюлы – это же двадцать гектаров! Ну и ну... – он смешал шахматы, ссыпал их в коробку. – А ты кури, кури! Куренье мозги проясняет, а нам думать надо – ох как думать!

Спичка вскрикнула, выбросив пламячко, Бекет невольно глянул в окно. Чёрт с папиросой в зубах всё так же смотрел в прорезь шторы, шелкая пальцем по стеклу... И шелкали по стеклу крупинки снега. Голубое марево потолка подпирала башенка настенных часов. Огромный как шумовка маятник тоже цокал, болтаясь из стороны в сторону, и это шелканье снежной крупы и цоканье маятника, казалось, продолбит макушку. Сигарета не придала ясности мыслям, да и, сказать по правде, не было их в голове в ту минуту.

– Товарищ главный лесничий, но это меняет положение! В корне меняет. Лес Аюлы надо рубить. А двадцать тысяч гектаров считай что строевого леса – это же... Да мне этого хватит, чтоб обвести вокруг пальца казахов всех – слышишь! – всех восемнадцати племен. Значит, так: заказ района мы берем. Но пионерский лагерь должен строиться здесь где-то рядом. А? Что скажешь на это?

– Смотрите... не пришлось бы отдуваться. Сегодня пионерский лагерь, завтра еще что-нибудь. А там, глядишь, и область захочет пристроиться к нашей тайге. Как бы нам лес не загадить...

– Смерть причину найдет, а шанс упускать нельзя. Во-первых, мы сделаем что?.. Мы дорогу проложим до трассы. Целых шестьдесят километров! Перевозка стройматериалов, оплата подрядчикам – район на это деньги выложит. Вот пусть он на них и построит дорогу. И сват будет рад, и сватья спокойна. А во-вторых... ты пойми: всё, что здесь будет построено, оно здесь и останется. Не понял? Что толку жителям Аксу, если пионерлагерь будет в райцентре? Того пионерского лагеря здешним детишкам не видать как своих ушей. А они что – рыжие? Чем они хуже? Да ребятишки здесь как мураши трудолюбивые. Мы для них при пионерлагере и парк юннатов откроем, и общество охраны природы. Бесплатные

руки, лаборатория задаром. Думаю, и женским рукам работа найдется, и старики со старухами не будут сидеть, точить лясы... Ну, как моя авантюра?

– Мечтатель вы.

– И то хорошо. Кстати, еще одна новость: у нас собираются сделать заказник. Пятьсот тысяч гектаров тайги. Всё это, конечно, в порядке вещей: лес вырубил за сто лет, теперь хотим сделать вид, что его охраняем. И всё-таки... если удастся закрыть леспромхоз, это само по себе будет пользой.

– Это мне нравится.

– Это всем нравится. Но если леспромхоз закроют, мы здесь останемся одни. Представляешь? На голом кочевье, которое вытаптывалось тридцать лет. Эти лысые горы и доли – кто на них будет восстанавливать лес? Правильно, мы. Но неясно еще, какие будут выделены средства, да и когда? Год пройдет, не меньше, пока объявится документация, то да сё... А мы не будем ждать, мы уже сейчас присоединимся к Абдижапару. Пройдоха? Аферист? Но у него в леспромхозе и транспорт, и деньги. Вопрос: как залезть в его карман?

– Ну, это вряд ли! Да он сам себя готов обхитрить. Залезть в карман Абдижапару?.. Надо крепко подумать.

– Подумай, подумай. А чтоб думалось легче, давай прогуляемся.

Белым-бело было вокруг. Снежная крупа перешла в хлопья, порхающий белый пух сделал мир беззвучным и невесомым, мороз отступил, тайга растерянно молчала. С утра гремел гром, а к вечеру зима вернулась. Природа жила в духе времени, ее лихорадило, и так сильно, что даже привыкшие ко всему синоптики порой шалели от крутых перепадов стихии.

– Да не тревожься ты, здесь нет воров, – сказал Сигат Бекету, который замешкался, пытаясь найти дверной замок. – Не знаю как в совхозе, а у нас даже склады не замыкаются. Всем миром так решили. И сторожам испытание, и всем жителям. Был, правда, один инцидент. Обнаружили открытой флягу с медом на складе. Но это, судя по следам, кто-то из детей соблазнился на сладкое.

– А Ситан? Это же ворюга отпетый!..

– Ну-у, Ситан... Про него никто и слыхом не слыхивал. Асеке ему создал славу.

Снег был вроде жидкого теста, слегка присыпанного мукой, нога погружалась в его жидкую хлябь, и позади оставались темнеть две цепочки следов. На единственной улочке поселка не было ни души. Аккуратные, ладные двери и сарайчики в них, сплошная ограда вдоль улицы из ровных, один к одному, горбылей – всё говорило о том, что постройки это недавние, а череда крепко стоящих столбов с электрофонарями, вокруг которых сейчас роились белокрылые мухи последнего снега, как бы напоминала о властной, умелой руке. И, казалось, только-только снята опалубка с бетонного моста через Аксу, что являла собой границу между лесхозом и оленеводческим хозяйством, а белый отсвет от парников – они тянулись вдоль берега реки – как бы делил и небо надвое, чтоб у соседей и тут не было территориальных претензий друг к другу. Плохое раньше хорошего попадает на язык, а потому говорили о всякой разности, которая заботит душу: сколько саженцев нужно высадить, пока не оттаял грунт, о горях и пустошах, о рвах и вымоинах, что изводят землю, о том, что нет техники и не хватает рабочих рук. Бекет начал было сокрушаться о том, что страницы журнала «Лесное хозяйство» и экран телевизоров щеголяют такой чудо-техникой, что пальчики оближешь, но до Алтая она, видно, никак не дойдет.

– И слава Богу, здесь она задаром не нужна! – отрезал Сигат. – В степи – там, пожалуйста, резвись на этой технике сколько влезет, а у нас такой чудо-трактор пройдет разок по склону горы и гусеницами срежет слой почвы, а тот слой лет за сто с трудом народился. После этого чуть дождик пройдет – вот тебе и оползень. А самосев слабосильный, сто двадцать ростков на гектар. Раньше тайга кишела зверьем и птицами, что разносили семена, а сейчас – где они? Нету. Вся надежда на саженьцы. Вот раздобыть бы десяток машин для копания лунок, но где и как?

– Есть одно соображение, но... – Бекет замялся. – Отпустите меня на некоторое время к Абдижапару – калымщиком.

– Во-от вылезла авантюра!..

Сигат улыбнулся, но по улыбке той трудно было понять, одобряет он план Бекета или нет.

По волне собачьего лая, которая накатила на них, стало ясно, что они ненадолго зашли в старый аул. Изюм всех дыр плетеных заборов, из подворотен пригнувшихся друг к другу кривеньких, ветхих, замшелых домишек бесновались дворняги, будто у них отняли их вожделенную кость. И сеновалы тут были скобочившиеся, и пялились на улицу кучи навоза, от них так несло, что спирало дыхание. Всё вопияло о нищете и запустении. Окна темны, во дворах ни зги не видно. Бекета обдало морозом будто в январскую стужу. Хотелось повернуть назад, уйти отсюда, но не мог же он ни с того ни с сего оставить Сигата. Сквозь оголтелое гавканье собак прорвалось чье-то пение. Из подслеповатого окошка, напоминавшего отдушину в баньке, доносилась унылая песня.

Где ты ходишь, где ты бродишь, милый мой?

Долгожданный, приходи скорей домой...

Я повыплакала все свои глаза,

Застит белый свет горючая слеза...

Жду тебя дни-ночи напролет

Вот уже, мой милый, двадцать пятый год...

– Эй, девушка! А веселей у тебя нет песни? – послышался голос рыжей старухи, и стало ясно, что это тот самый дом, где все «бабы в сборе».

– Бедняжки, они и тут экономят, – покачал головой Сигат.

Окна с наглухо закрытыми ставнями были темны, даже сквозь щели в ставнях не пробивалось ни лучика. Видать, старухи сидели, не зажигая света, у железной печи в чулане. А зачем он, зря жечь его, свет? Оно в темноте и уютней... Что поделаешь, привычка одиноких стариков, которым с лихвой пришлось и голодать, и холодать. Они и сейчас, чуть потеплеет, печи стараются топить поменьше, чтоб дрова сэкономить. А ночью – что? Укутайся в одеяло потеплее, авось не замерзнешь. Приземистая хатенка, замшелые бревенчатые стены, подслеповатое окно и пылающий огонь в грубке, в железной печи, чтобы и жарче, и поменьше дров, – как тут не вспомнить холодное дыхание тех роковых, сороковых! И сколько же боли, сколько горя-тоски несут в себе тихонькие старушонки, им судьбою отписано остаться навеки молодками, а они на судьбу не сетуют и долю свою не клянут. Что ж это за песню они пели? И печаль в ней безмерная, и плач по суженому, которого смерть обручила с сырой землей.

– Фашистов-то мы победили эвон когда, – сказал Сигат. – Теперь одолеть бы войну.

И он пошел дальше, как бы пытаясь уйти от этой скорби и не в состоянии от нее уйти.

Кружа по старому аулу, они опять вышли к реке. И тут на переправе тоже как память о прошлом два бревна были проложены от берега к берегу, были и поручни, дрожащие, хлипкие, отполированные за десятки лет мозолистыми потными ладонями людей, одолевавших лихолетье и одолевших его.

– А бревнышки эти лежат с сорок первого года, – подивился Сигат, – и до сих пор лежат.

Бревна, вылизанные снизу студеной водой, покрытые сверху прочной корочкой мокрого и подмерзшего снега, для переправы сейчасгодились меньше всего. Чуть поскользнешься, и студеной ванной в Аксу обеспечена. Но раз уж к переправе подошли, то волей-неволей ступили на бревнышки, хотя, конечно, и боязно было, и повернуть назад хотелось, но не показывать же это друг другу. Сигат мигом прошел на тот берег и даже не обернулся, не бросил спутнику через плечо: «Ты здесь?» А Бекета застопорило на переправе, он долго глядывался в скользкие бревна, в их посиневшие от времени бока, обглоданные водой и промчавшимися годами, и бревна эти казались ему мостом между вчерашним и нынешним днем, между прошлым и будущим. И странно: волны Аксу были гривастыми, белыми, но чем дальше смотришь в них, тем больше они поражают своей чернотой, будто омут. Аксу – Белая. Ой ли?..

А Сигат за это время ушел далеко. Белокрылые мухи, роем кружившие в воздухе, напоминали временами тьму-тьмущую таежного комарья, которое смерчем завивалось вокруг шапки Сигата, вокруг его беличьих хвостов, они подпрыгивали в такт шагам. Бекет смотрел на удаляющуюся фигуру почтенного франта, а если быть точнее – пожилого аристократа, который с таким неподражаемым вкусом умел соединить в одежде два стиля – ретро и модерн, который выстроил новый аул и не случайно же бродит среди ночи по закоулкам старого аула. И казалось ему, что душа этого человека, подобно двум скользким бревнышкам через Аксу, – живой мостик, пытающийся соединить старое с новым. Душа, которая мучительно ищет дорогу в завтрашний день, не перекладывая трудности этих поисков на чужие плечи, а стараясь по мере сил, а порой и сверх меры исполнить свой гражданский долг..

Сигат не замедлил шага, Бекет не стал его догонять.

Сигат зашел в свой особняк, в свое персональное жилище, оно как бы возносило его над мирской суетой. Бекет отправился в коттедж для многих...

Глава третья

1

Абдижапар обычно сидел, втянув голову в плечи, будто его ежесекундно могли огреть палкой, выглядел вечно усталым, был неряшливым, невзрачным мужичком. Сняв очки, он указательным пальцем протер закисшие глаза, щепотью собрал на затылке остатки сивых волос, прикрыв ими по возможности плешь:

– С-собачья жизнь! Было семь волосин, и те с дурной головы сбежали.

И он задумчиво пощипывал оазис из пяти волосинок на подбородке – кстати, давно не бритом.

Бекет сдержанно улыбнулся, принимая к сведению жалобу начальства и ожидая, что же ему скажут дальше. Абдижапар был большерот, а попросту – рот у него

был до ушей, не зря его прозвали сомом. Сейчас нижняя губа отвисла чуть ли не до пола, лицо страдальчески морщилось, и по тому, как он сидел, скособочившись в своем скрипучем кресле, и временами поскуливал, будто пес на помойке, Бекет сделал вывод, что у бедолаги, очевидно, геморрой.

– Значит, кончил институт, говоришь? Хорошо-о!.. Но, ей-богу, у меня нет кресла, чтоб усадить тебя с дипломом... Ой, убери сигареты! Тут своих паровозов хватает. Закоптили, понимаешь, всю тайгу...

В кабинете было накурено, впору вешай топор, да и контрамарка, печурка из дырявой жести, нещадно чадила, глухо постреливая полешками.

– Есенкул! Эй, Есенкул!.. Наверно, в карты режется, сук-кин сын. И печь, слушай, дымит. Дым, конечно, не стыд, глаза не выест, но... Пошуруй, будь другом, а?

Поскольку Бекет не сдвинулся с места, Абдижапар сам крутанул кочергой в печи, заодно напился из алюминиевой кружки, посаженной на цепь рядом с алюминиевым баком и, возвратясь, со стоном полуприсел, полуприлегал в кресле.

– Топор в руках удержишь?

– Так... или топор, или кресло. Сидя в кресле, топором не намашешься.

– Это уж точно.

Облизываясь, будто кот, и разве что не мурлыкая, вошел Есенкул. Его морда буквально лоснилась от жира, из-за тугих, толстых щек едва проглядывали маленькие ушки, опять же, как у зажавшегося кота.

– Кого я вижу? Есеке! – Абдижапар, когда появился его бухгалтер, выразил такой искренний восторг, будто год не виделся с ним. – Слушай, у тебя на шее складки, как у быка-производителя. Ты не боишься лопнуть от обжорства?

– Ну зачем так, Абеке?.. Хорошего человека должно быть много.

– Да? Тогда другое дело. Ешь от пуза! – разрешил Абдижапар. – Слушай, а где этот пустозвон?

– Который?

– После тебя второй. Таскабак¹ где?

– Жакуп, что ли? Да где-то здесь только что в тринку резался. С плотогонщиками.

– Ага, он резался, а ты смотрел.

– Ну зачем вы так, Абеке: вы же знаете, картежная игра – не мой профиль.

– Чтоб те сдохнуть!

– Спасибо. Что мне еще остается?

– Ага, но прежде чем сдохнуть, надо так нажраться, чтоб на том свете икалось.

Слушай, а тебе одной задницы не мало?

– Ну зачем так, Абеке?..

– Ладно, будет вилять, Бекета знаешь?

– А кто его не знает? Наш брат, калымщик.

– Тогда оформи его в жакуповскую «Дружбу» пятым лесорубом. Где кассир?

– Ребенка кормит.

– Он что – сам поест не может?

– Она грудью его кормит.

– Господи, ей что – каждый час, что ли, доиться надо?.. Срочно вызови! Бекету выдай аванс.

– Зачем? – подал голос Бекет. – Я пока при деньгах.

¹ Сорт пустотелой тыквы, идет на поделку посуды.

– Да ты что? Побыл в Алма-Ате и при деньгах остался! Так не бывает. Про это помалкивать надо.

Есенкул колобком покатился на выход, но вдруг торопливо дал задний ход:

– Совсем забыл, Абеке! Вас в суд вызывают.

– Чего-о?

– Опять, наверное, лесхозовские штучки.

– А-а... Я-то думал – алименты.

Есенкул, будто для того и вернулся, с наслаждением почесал зад, а потом уж выкатился.

– Слышь, почему бухгалтера всегда жирные? – спросил Абдижапар, не без опаски глядя на дверь, за которой скрылся бухгалтер.

– А у них аппетиты хорошие.

Абдижапар посмотрел на часы и уставился в окно:

– Черт побери, с бабой жить невозможно, и без нее не проживешь. Почему так, а? Гляди на чужие дымы и облизывайся.

– А жена где?

– Это которая?

– Та, которую я видел.

– А, эта... Знаешь, в дыре вроде Корбихи может выжить только чокнутая, а нормальная женщина долго не протянет. Вот уже полгода, как овдовел... Постельные заботы – дело второе, а первое – обед сготовить некому.

2

Стояла предвесенняя пора, когда мухи еще не вылезли, верба не распустилась, земля не оттаяла. Но Бухтарминские торосы уже стали рыхлыми, и было ясно, что вот-вот грянет тепло. У обрыва теснился десяток домов – всё, что осталось от Корбихинского участка Зерендинского леспромхоза. Слухам, что закроется леспромхоз, люди перестали верить, хотя никто ни в чем не мог разобраться. Верхом на бревнах, приготовленных для вязки плотов, сидели бородачи, похожие на сытых грифов, решающих, клевать им падаль или погодить. Они скучали от безделья и, скучковавшись по пять-шесть человек, резались в тринку. У большинства из них дом – в городе, заработки – у черта на куличках. В общем бывалый, фартовый народ, а попросту – калымщики.

Бекет, сунув два пальца в рот, пронзительно свистнул. Бородачи оторвались от игры, подняли головы, но среди них Абдижапар знакомых не нашел. Сухой изможденный старик приложил ко лбу ладонь козырьком, посмотрел на них издали, поманил указательным пальцем.

– Чей будешь, сынок?

Абдижапар поморщился и недовольно отозвался на вопрос вопросом:

– Кого из пришлых знаешь?

– Да их тут как чертей в стогу. А родословная твоя мне – как собаке пятая нога. Ты табака мне дай понюшку, – и старик протянул свою лапу.

– Ишь, дай ему на понюшку! Я-то думал, ты сам поднесешь мне стакан корыловки.

– Э-э, чего захотел! Да будь у меня косорыловка, я бы, чай, и сам с ней справился, – старик вынул из-за голенища костяной чубук и принялся его чистить, постукивая о каблук.

– Да-а, у нынешних стариков куска дерьма не выпросишь задаром, – сказал Абдижапар. – Сами норовят попросить. Это ж надо – для себя самого табака на понюшку ему жалко!..

– А ты подойди, подойди поближе, – старик, как банный лист, прилип к Абдижапару. – На чем мы там остановились? На бесплатном дерьме, да? Так вот, сегодня даже собака сначала проверит, чего это у нее из задницы вылезло, а потом уж решит, бежать ей дальше или с собой прихватить. Ты сам-то с какого предка своего прослыл щедрым?

– Эй, дед! Ты только что сказал: моя родословная тебе – как собаке пятая нога.

– Угу, а я такой дурак! Думаю, дай-ка я напомним этому сиротке его родословную, а он мне за это отвалит пятак, – старик сунул за губу щепоть насыбая¹, еще раз внимательно осмотрел с головы до ног и того и другого. – Мне нужен жеребец.

– Ты бы сразу спросил самосвал.

– Самосвалихи нету, а то попросил бы. Ты ездил зимой на жеребце?

– Ну, ездил.

– Вот и дай мне этого жеребца на два-три дня.

– Покрасоваться что ли, поджигитовать? Жирно будет. Жеребец не табунный.

– А я-то, старый дуралей, не понимаю! Кобыла у меня. Дойная. В охоте. С неделю ничего не ест.

– Ну, аппетит мы ей вернем. Но за работу жеребца придется заплатить.

– Вот язви корень! Ты, поди, и мочой жеребца приторговываешь? Это ж надо – такое сказать! Как язык у тебя повернулся?

– А у тебя? Не дожил еще до лет пророка, чтобы качать свои права. Ну, что скажешь? Ты по молодости лет всё растранил – и слова, и мысли, и силенки. И что? В твои-то годы раньше вторую жену брали, а у тебя и на первую ничего не осталось.

– Тьфу! Ты к нему с добром, а он к тебе с дерьмом, – теперь старик был огорчен и вправду. – Да заплачу я тебе, заплачу – как будет чем. Но не строй из себя, а? Скажи ребятишкам, пусть приведут жеребца!..

– Послушаешь старых болтунов, сам становишься идиотом, – сказал Абдижапар, когда от старика удалось наконец отвязаться. Он тоже выглядел огорченным. – Такой вот вцепится в тебя, будто репей, да как затянет свою жарапазан², так сам готов выть волком!.. Ой, слышь, постой: вон опять кто-то из них караулит меня на дороге.

Очередного старика они обошли по кривой, сумели улизнуть от него. Первое, что они увидели, подойдя к столовой дорстрою, это толпу бородачей, оседлавших бревно для привязи коней.

– Всё! Таскабака, хоть собак на него спусти, отсюда не выгонишь.

Их никто не заметил и не думал замечать. Смуглый коренастый крепыш, спина у него была неестественно широкая – Бекет не сразу понял, в чем дело, а там как бы не было шеи, отчего плечи тоже казались чудовищно широкими – как раз бросил трехкопеечный медяк в бадейку с помоями:

– Достань! – приказал он рыжему веснущатому лохмачу.

Чернявый крепыш как раз и был тем самым Жакупом, или Таскабаком, по которому Абдижапар объявил чуть ли не всесоюзные розыски. Понятное дело,

¹ Нюхательный, а также особо изготовленный табак, который закладывают за губу или под язык.

² Песня, исполняемая во время поста для сбора милостыни.

звали его Жакупом, а Таскабак – это кличка, которой припечатали его за упрямство и грубость. Вороватые глаза под крутыми надбровьями смотрели недоверчиво и настороженно. Высокий лоб был как бы жестяным, причем волосы гнездились совсем уж невесть где, на макушке, и не волосы, а что-то собачье – короткая кудрявая шерсть. Так что если смотреть со спины, то всё это смахивает на маленький, не по размеру, паричок, напыленный на голову нелепой куклы. И хоть Абдижапар с Беккетом демонстративно мозолили ему глаза, давая понять, что они пришли за ним, он даже не поздоровался.

Веснушчатый рыжий лохмач брезгливо смотрел в бадейку. Помои они и есть помои: остатки лапши, крошки заплесневелого хлеба, куски простокваши, желтые блишки жира, и всё это чуть ли не через край.

– Да ты что! Собака и та морду отворотит! – запротестовал было конопатый.

– Наклоняйся! – Жакуп пнул его в зад. – В следующий раз, не проверив кармана, не сядешь за игру.

Рыжий плюхнулся на колени и поневоле сунул голову в бадейку. Какое-то время головы его не было видно, лишь хлюпали помои, переливаясь через край. Затем голова с шумом вырвалась из пенившейся бурды и, давась и кашляя, выплонула Жакупу медяк, который конопатый держал на кончике языка.

То ли Бекету стало жаль рыжего, то ли омерзение вызвал сам Жакуп, но Бекет преградил ему дорогу и ткнул пальцем в сторону медяка:

– Подними!

Тот ощерился:

– Дарю.

– Богатым стал?

– Нищим не был.

– А чего шатаешься здесь?

– А ты чего? К папе приехал, соскучился?

– По тебе заскучал!

– Пойдем в овраг! Обнимемся.

– Пошли!..

Они направились к оврагу, а бородачи, будто ничего не случилось, потянулись в столовую.

3

Столовая полна. Абдижапар для видимости сполоснул руки и сел на свободное место рядом с дремавшим парнем, у которого из особых примет была одна – реденькая бороденка.

– Эй, ты не Бескемпир¹?

У того лишь дрогнули ресницы.

– Бедный ты жырау! Очни-ись! Хватит потрошить свой карман. Так ты никогда не вылезешь из этой Корбихи!..

– Ша! – Бескемпир грохнул по столу кулаком. – Пусть твоя Корбиха це... целует мой зад. Уйду и не оглянусь!..

Вошли Бекет с Жакупом.

– Что – кончили обниматься? Проходите сюда, на почетное место, – и Абдижапар придвинул еще два стула к своему столу.

¹ Имя, буквально: пять старух.

Жакуп тяжело дышал. Одно ухо кровоточило. Бекет вынул из кармана охотничий нож-складень, бросил его Жакупу. Потрескивая пальцами, стал разминать мышцы правой руки.

– Жуть! Да ты мог посадить нас всех, – Абдижапар во все глаза смотрел на нож, на присмирившее лицо Бекета.

– Теть Маш! – заорал Жакуп.

Теть Маш – официантка, буфетчица, повар – одна в трех ипостасях сразу, оттого, очевидно, при столь жирном животе, как раз подкрепляла свои пошатнувшиеся силы.

А потому, не прекращая жевать, спросила:

– Што... нести?

– Всё нести! – потребовал Жакуп. – Всё и коньяк.

– Звезд сколько?

– Все, сколько есть.

Клевавший носом Бескемпир, каким-то чудом до сих пор не громыхнувший со стула, при магическом слове «коньяк» очнулся и даже протрезвел. Абдижапар предвидел это, а потому заранее хотел избавиться от лишнего рта, пьющего к тому же за десятерых.

– Хоть тебя и пропустили между ног пяти старух сразу, но ума у тебя... у пятилетнего ребенка больше, – сказал он Бескемпирю. – Тебе сейчас что надо? Иди к бабам, выпей рассолу.

Зафиксировав близлежащее пространство, волевым усилием заставив лица и столы не кружить вокруг него, Бескемпир, он сосчитал глазами парней, сидящих рядом, содрал с головы Абдижапара сурочью шапку и набросил ее на графин. Абдижапар, к слову сказать, в это самое время аппетитно ел измазанный горчицей черный хлеб. А Бескемпир вдруг горячо на одном дыхании продекламировал экспромт:

Рот, рот – живоглот,

Проглотил огород,

С огородом заплот

И десяток подвод

С продуктами.

В эту пасть бы не попасть бы

И навеки не пропасть бы!..

– Ну-у, завел свой жарапазан.

Жакуп бросил перед Бескемпиром ложку. Это было тем более кстати, что, ведя коньяк за собой, как раз пришло целое блюдо куырдака из легких, почек и печени. И Жакуп разлил коньяк в три стакана.

Это вызвало новый всплеск словоизвержения у Бескемпира:

Подавись своей жратвой!

Как шакал над нею вой!..

Не скупись, налей вина –

Обниму тебя, родной!..

У Абдижапара хоть и отвисла чуть не до пола губа, но он тут же ее подобрал:

– Бедный мой жырау! Тебе проспаться бы, умыться, а уж потом опохмелиться. Глядишь, ты и сказал бы что-нибудь путное.

И Абдижапар сосредоточился на своем внутреннем мире, готовясь заглотнуть коньяк. Но Бескемпир, лихо выхватив у него стакан, опрокинул его в себя.

а обескураженному Абдижапару в качестве утешения прочел родившиеся под влиянием этой минуты стихи:

Ты мастак на оскорбленья!
 Пухнешь, как беляш в жиру.
 Не заметил и с вареньем
 Проглотил свою жену.
 А потом – вторую следом...
 Так ты станешь людоедом!

И, щелчком пальцев подозвав к себе колышущуюся рыжую байбише столовой, он сунул ей двадцатипятирублевку, а к купюре тут же пристегнул свои мгновенные стихи:

Коль к бутылке я прилипну,
 Обдерешь меня как липку,
 Да еще возьмешь на чай –
 С чистым сердцем, невзначай!..

Лично ему его стихи нравились.

– Ай да я! – сказал он с восторгом и уметнулся из столовой. Читать стихи дальше.

– Этот сукин сын – вы заметили? – притворялся пьяным! – сказал Абдижапар, сам не веря себе. – Но он столько выпил!.. Не-ет, паршивую овцу из отары вон! Его с собой не берите.

– Это он тут такой шустрый, – сказал Жакуп. – А доберемся до Жандыся, он станет как шелковый.

– Смотри, не дай маху!.. А пятым будет у тебя Бекет.

Жакуп промолчал. Когда он хотел уйти от прямого ответа, его вороватые глаза еще глубже спрятались под лоб. Скосив глаза вниз, он придвинул стакан. Абдижапар отлил ему половину своего коньяка. А Бекет, не делясь и не чокаясь, выпил содержимое стакана, который не выпускал из рук, тщательно вытер губы белым носовым платком, а застывшее жаркое, обветрившиеся легкие и печень, что на ближней к нему стороне блюда, подвинул начальнику и бригадиру.

Абдижапара, видать, это задело.

– Пора, пожалуй, расходиться, – сказал он и подал Жакупу целый ворох смятых нарядов. – Только не приписывай кубометры, я тебе ни в чем не откажу. А гектары сам закрою.

4

Стоял полдень, и теневая сторона гор таилась в сумраке. К тому же серая туча, будто ее скалкой раскатали по небу, прикрыла солнце, и вместо неба над головою висело что-то вроде грязного ситчика. В ущельях сквозило, весенний лес, хмурый и онемевший, был неуютен и пуст, и всё живое в оцепенении затаилось. Густой ельник синими волнами покрывал хребты гор, цеплялся за подола белесых туч и, туманясь, уходил за горизонт. Ночная стужа еще не прошла, в лицо тянуло холодом от промерзшей земли, и крупинки снега на тропе не таяли, лежали как рассыпанное просо. От лесопилок, таившихся, как стоянки воров в укромных ущельях, крадучись струился дым.

Эту однообразную тишину взорвали разудалые шумы и гиканье: из-за ограды оленеводческого совхоза, петушась и дурачась, вывалили джигиты и на рысях помчались к займке пасечника. Кони под ними все, как на подбор, саврасые, с

черными гривами, и, видать, сдуревшие от гонки за оленями. И что им стужа, что им неуют этого мрачного дня? Мчат себе, как черти, горяча неумную кровь. Никак за медовухой двинули, подумал Бекет и ощутил, что во рту пересохло. Что за неумная жажда? Стоит подумать о выпивке на дармовщину и начинаешь зариться даже на чужой шалап, хотя свой торсык¹ полным-полнехонек.

На склоне показался косяк лошадей. Пахло дымком очага. Значит, неподалеку зимовье табунщика.

Бескемпир жадно потянул носом:

– Может, заглянем к старику?

– Он ждет тебя не дождется! – охладил его аппетиты Жакуп.

– Но зимний кумыс! Мечта...

– Тебе на халяву любая бурда – мечта.

– Ага. А ты у нас на халяву не пьешь, ты мимо льешь.

Всё, ткнули друг друга профилактики ради и успокоились. Жакуп знает, что Бескемпир в его устремлении к рюмке ничто не остановит – разве что понос? И Бескемпиру введома толстокожесть Жакупа – взрывные пули остроумия, насмешек отскакивают от него как от стенки, но всё же досадить ему охота. Ага, поморщился! Не нравится, когда правду-матку режут в глаза...

Бекет не вмешивался в пустую перепалку. Пусть их – чешут языки. Он лишь пошевелил канистрой спирта, которую нес, и набитым доверху мешком макарон за спиной. Под лямку вещмешка, что натирала плечо, подложил рукавицу. Так-то оно мягче будет. Бескемпир опять зашелся в кашле. Под глазами мешки, лицо опухло, было изжелта-бледным, неся холодок хронической болезни.

– У тебя легкие как – здоровые?

– Пес их знает... На одну жизнь, поди, хватит.

Забравшись на хребет Жындысая, дали отдых ногам. Жакуп раскраснелся, из-за ворота куртки валом валил пар. Он, подмяв спиною рюкзак, растянулся блаженно и, не глядя, высыпал по горсти кедровых орехов Бекету и Бескемпиру – те едва успели подставить ладони.

– Пусть земля тебе будет пухом! – поблагодарил его Бескемпир.

Жакуп расчувствовался:

– Мне земля, а тебе – змея. Под язык.

– Не понял?

– Пусть гаденыша выродит.

– Тьфу!

Наверное, сказывалась весна с ее авитаминозом, а может, и атренировка: у Бекета гудели ноги и ныла голень. Он никогда не уставал от перегрузок, но укатали сивку крутые горки: с утра до ночи над книгами да конспектами, то экзамены, то защита дипломной, вот и поистратил силенки. Грязный, серый снег был сейчас желаннее пуховой перины, можно брякнуться на него, закинуть ноги на пенечек, чтоб кровь от ступней отлила, расслабиться и закурить. У него не было особого пристрастия к куреву, оно следствие бродяжьей, отшельнической жизни, скупой на утеху и радости. Характер у него был ровный: ни озорства, что рвет путы, ни легкомыслия, толкающего на безрассудства, ни донжуанских завихрений. Немного увлекался спортом. Что еще? Всё, пожалуй. Может, поэтому детство и юность

¹ Шалап – смесь воды с кислым молоком. Торсык – бурдюк, мешок из козляной кожи (обычно для хранения и перевозки кумыса).

остались глухой, незапоминающейся полосой жизни. Сам он не лез в герои, высываться не любил. Три года отдал армии, потом семь лет отрубил в лесорубках: зимой – на валке леса в глухой заимке Жындысая, летом – по Бухтарме гонял плоты. Правда, из-за учебы шесть лет пришлось болтаться между Алма-Атой и Алтаем, но к тридцати годам заочное отделение лесфака всё же добил и диплом добыл. За длинным рублем не гонялся – зачем он ему, длинный рубль? Один как перст, много ли ему надо?.. Увлекала, конечно, беспечная свобода холостяцкой жизни, и вольница тайги соответствовала ей как нельзя лучше. Может, и теперь не случайно в руках его всё тот же топор, да еще в сообществе Таскабака? Есть, конечно, щекочущая новизна в том, что сам, по своему разумению, полез в силки Абдижапара. Но главное-то, главное не в том! Тоска по бесшабашной жизни неизбывна, и даже истерзанный Жындысай дорог сердцу, поскольку здесь дух вольницы таежной, – вот что главное. Хоть и родился и вырос ты в городе, но жить без Алтая не сможешь, и как бы ни был солон хлеб лесной, как бы ни был он горек, но слаще его и сытнее не было в жизни твоей и, наверное, не будет.

Жындысай¹ – треклятое ущелье! Даже в названии порча, недобрая метка. Почему, отчего? Сатана, и тот не даст ответа. Когда-то место это называлось Печи, и причина тому была. Называли ущелье и Сундетсай² – тоже не случайно. Во время оно переселенцы из России, добравшись до этих райских мест, то ли не в силах были двигаться дальше, то ли зима прихватила. И перво-наперво стали они класть себе печи, а уж к печам пристраивать крышу и стены. У мест этих были хозяева, и самозванцев могли бы турнуть, но у казахов есть обычай: чье б это ни было жилище, и где б ни поставил его человек, но раз есть очаг и потянулся дым за очагом, грех прогонять новосела. А расплатились русские переселенцы за землю, которую заняли, не серебром, не золотом – детьми. Пятьдесят мальчиков в поре младенческой были отданы казахам, и возникший было спор за землю кончился обрезанием этих пятидесяти новобранцев. Вот тебе и Печи, вот тебе и Сундетсай. А кержаки с казахами так потом перемешались, перероднились, что ни Аллах, ни Саваоф разобраться порой не могли, кто есть кто. И сегодня, когда ущелье обзавелось названием со скандальным душком Жындысай, а в каждом хуторе выросли конторы да прочие госхозы, потомки тех пятидесяти новобранцев хоть и не основали полсотни аулов, но уж в каждом ауле их внуки и правнуки живут большими семьями, а мальчиков своих кличут привычными для этих мест именами: Жолдыбек, Колдыбек, Куттыбек, Майлыбек³...

Сопляки, что являлись на свет божий в казахских ли, русских семьях, могли быть и черными, и рыжими, и смуглыми в крапинку – такой пестроте никто здесь не удивлялся. И язык, и житейский уклад были общими, ты можешь задать вопрос на русском, тебе ответят на казахском, и люди прекрасно поймут друг друга, и нет в том никакой чересполосицы. И, было дело, Бекет попал впросак, спросив у Заднюкова, одного из начальников: «У вас случайно на макушке нет дыры?» – вопрос, понятный лишь казаху и означающий: не прикидываешься ли ты, что не знаешь язык, мотая нужное себе на ус. На что ему ответили на чистейшем казахском: «Да это ж мой родной язык. Всю жизнь среди найманов и кереев – как мне его не знать?»

¹ Дурной квадрат.

² Ущелье обрезаний.

³ Бек – знатный, составная часть мужского имени. Жолды – правильный, Колды – похищенный, Кутты – счастливый, Майлы – жирный.

Заимка показалаcь внезапно. Избушка прилепилась к крутой скале, крыша была без чердака, труба попыхивала дымом, а дверь в избушку курилась паром, суля тепло и уют. Домишко обшарпанный, стоял на отшибе и в немыслимой глухомани, но Бекет за столько-то лет сроднился с этим логовом и был ему рад несказанно. Несколько саврасок-работяг уткнулись мордой в стог, восполняя недостающие в организме калории. Они пугливо вскинули гривастые головы, потому как со стога махнула вниз овчарка, черная, с огромной серой мордой.

– Из собак косяки собираешь? – спросил Бекет Жакупа.

Тот промолчал, но Бескемпир подал голос:

– У него, кроме собаки, есть живое сокровище.

Бока громадной грубки – ее сделали из железной бочки – накалились докрасна. И были раскрасневшимися от жара щеки тридцатилетней ладной женщины, она сидела у огня и щелкала орехи. Женщина глянула на них своими синими глазами, невнятно, с ленцой выдохнула: «Здрасьте». Что тут можно сказать? Таежная красавица. И Бескемпир, естественно, заговорил стихами:

От угощений черной юрты
Мы уклониться не сумели,
И не было в пути уюта –
Нам сил хватило еле-еле.
Спешил я, видит Бог, как мог –
И вот я вновь у ваших ног.

Что женщина делает в таких случаях? Смеется, и смех у нее также красив, как и она сама, а в глазах вспыхивают искры, и вся она живое воплощение доброго домашнего тепла. Впрочем, здесь были не только свои, но и вновь прибывший, и она тотчас притушила и сияние глаз, и улыбку. А Бекет не стал церемониться. По-свойски разделся, на подоконнике зажег керосиновую лампу и прикурил от пышущей огнем раскаленной печи.

По обилию чучел, этих зайцев, лис, белок и сов, набитых соломой, могло показаться, что заимка принадлежит звероводческому хозяйству. Стены сплошь были украшены охотничьими трофеями, вплоть до собольих шкурок, так что, при желании, иголку воткнуть было б некуда. На нарах, сооруженных из жердей, на верхнем их ярусе, кто-то дрыхнул, причем напрочь голый. По гладкому, почти младенческому брюху Бекет узнал Мишеля. Женщина приоткрыла крышку казана, попробовала на вкус бульон, подбросила щепочек в топку. Запах вареного мяса, очевидно, проник в сны Мишеля, а может, его разбудили шум и возня вновь прибывших. Мишель поднял голову, почесал живот, повел носом, протер глаза:

– Что может сравниться с мясом куропатки, имеющей вкус хурмы! – он был гурман и гастроном. С наслаждением зевнув, он увидел Бекета и мигом соскочил вниз: – Кого я вижу! Нет, вы гляньте, братцы, – да это же... это же Бекет!..

Махонького росточка, к тому же круглый как переполненный бурдюк, коротыш заметался вокруг Бекета. Он хотел повиснуть на шее – руки были коротки, хотел обнять – живот мешал. В конце концов, устав от этих бесполезных попыток, он сел к огню и с обожанием уставился на Бекета, пожирая его глазами. Нравится это Бекету или нет, для Мишеля не имело значения. Долго еще не умолкал булькающий смех и сияло от радости его лоснящееся круглое лицо.

Жакуп вошел чуть позже, замешкавшись снаружи. Подчеркнуто важно, давая понять, кто здесь хозяин, он сумку свою и верхнюю одежду повесил отдельно ото всех, на оленье рога. Потом, рассевшись на медвежьей шкуре, задрал ноги кверху и гаркнул:

– Мать!

И возлежал величаво, будто делал одолжение, пока она снимала с него сапоги и разматывала портянки. Второй ярус нар, судя по всему, принадлежал супругам. Во всяком случае, Жакуп безжалостно сбросил оттуда белье и рубашки Мишеля.

– Ну, браток! Ты, как вопрь лесной, готов разметать всё на свете. Запомни, порядочный мужчина – если он мужчина! – не оставляет трусов там, где ночует!..

– Жакуп!.. – укорила его женщина с небесными глазами.

Жакуп сунул ноги в резиновые сапоги, сорвал с гвоздя кожаный ремень. Он сделал это с таким остервенением, что казалось, сейчас он набросится на женщину и начнет ее бить. Пинком открыв двери, он вышел, и не помыслив их закрыть. Пламя керосиновой лампы, метнувшись, погасло, и комнату заполнила угрюмая тишина.

– Ладно. Пойду помогу, – сказал Бескемпир.

– Ладно, – вздохнул Мишель. – Пойду напою коней.

Не мог же Бекет остаться в комнате один с этой женщиной, когда все ушли?..

Микродвижок бензопилы, называемой «Дружба», чихал, не заводился. Бригадир, раздираемый яростью, дергал кожаный ремешок. Он вспотел от усилий и злости.

Волоча топор, подошел Бескемпир.

– Живут в лесу, и дров нарубить не могут, – прошипел Жакуп.

Волоча уздечки, подошел Мишель.

– Брюхо подбери... барсук вонючий, – обласкал и его Жакуп.

Засучив рукава, вышел Бекет. Но в самый раз осточертевший всем движок наконец-то прочался, прокашлялся, затарахтел. И бригадир с остервенением воткнул трещавшую пилу в красный кругляк лиственницы, вымещая на нем всё накопившееся раздражение.

Заходящее солнце оставляло у горизонта радужное сияние. Со дна ущелья от зимовки табунщика тянулась вверх сиротливая струя дыма. Она была тоже темно-красного цвета. Ветер, что пробирал до костей, утих. Но к вечеру похолодало. Горная гряда в частокле еловых вершин меркла в тумане. Старый снег в распадах походил на шкуру пестрой овцы. Казалось, что отходящее ко сну ущелье, чтоб не озябнуть ночью, прикрылось лохмотьями рыхлого снега.

Каждый звук в вечерней тишине, окованный морозцем, был обостренно ясен и четок. Кони шли с водопоя, скрип копыт болью отзывался в ушах. Стук топоров был отрывист, пронзителен, как и плачущие возгласы голубоглазой женщины. Очевидно, семейный скандал был тоже предусмотрен протоколом супружеской жизни. Бекет инстинктивно сторонился грызни и постарался уйти подальше от дома. Кружа вокруг конюшни и сараюшек, он вышел к засыпанной снегом землянке, что лепилась под обрывом. Потянул дверь к себе. Из еловых досок, примороженная до звона, она не поддавалась. На двери шилом была выжжена надпись «Передвижная художественная мастерская», и чуть ниже добавлено слово «калымщиков». Здесь же красовался его портрет, нацарапанный всё тем же шилом. «Привет», – сказал он своему портрету.

– Привет, – откликнулся портрет голосом Мишеля. Тот стоял рядом всё с той же идиотской ликующей улыбкой, готовой перейти в булькающий смех. – Нет, ты глянть! Он и вправду вернулся.

И, похожий на пингвина, засеменял к поленнице. Короткие ручки трепыхались как крылья пингвиньи, дурацкое, карикатурное брюшко на коротеньких ножках. Он подхватил пяток поленьев и, зажав их под мышками, заковылял домой. Из приотворенной двери клубами вырвался пар. Он нес в себе запах сухого дерева благоухание смолы, жар прокаленной лиственницы. Он звал в тепло, к огню, он обещал покой и сон, в котором можно было забыться до утра.

6

Леся накрыла на стол. Поставила перед каждым деревянную миску, деревянную кружку, ложки тоже были деревянными, равно как и стоящая посреди стола чаша, величиной с казанок, она была до краев наполнена лапшой, которая курилась паром, и сразу все почувствовали, что зверски голодны. Вообще, здесь вся посуда, вплоть до собачьей плошки, была выдолблена из корявых наростов, что часто встречаются на стволах березы. Причем на дне мисок были выжжены имена и первые буквы фамилий каждого члена дружной семейки лесорубов. А чтоб оно было еще убедительней, чтоб не передрались из-за посуды, рядом с инициалами имелись изображения физиономий, лишенные, быть может, совершенства, но узнаваемые.

И посуду, и гравировку на ней сделал когда-то Бекет, забавы ради, но потом оно стало неписанным законом: не жди подачек и милостей от сельмага, а по возможности натурой взимай дань с природы.

Понятное дело, что и вожденная бутыль с краником, которую Леся вручила Жакупу, была тоже выдолблена из дерева. Может, и спирт в бутылки был древесный? Впрочем, неважно какой – важно, что он был.

Первым набросился на спирт Мишель:

– Напиток богов! Праздник души и тела.

Он по-кабаны ахнул, опрокинул в себя свою порцию и с лютой жадностью приник к раскаленной лапше. Остальные такого энтузиазма не проявили: тесто было раскатано плохо, и каждая лапшинка напоминала ужа, проглотившего жабу. Бекет, как он ни был голоден, выцедил один лишь бульон.

Жакуп тут же сделал оргвыводы:

– С завтрашнего дня тесто будет раскатывать Бекет!

Кое-как обглодав тощий крестец куропатки, Бекет бросил его в таз.

Бригадир и тут остался недоволен:

– Конечно, мы к столичным ресторанам не приучены, чтобы так-то разбрасываться едой...

– Наверно, и твоей собаке надо оставить ее долю.

– Моя собака бульон лопает!

А Мишель не слушал их, уписывал лапшу так, что треск стоял за ушами. Леся, расстроенная, что еда ее пришлась мужикам не по вкусу, сидела, опустив глаза, тупо выводила черенком ложки узоры по столу.

– Мать! – рывкнул ей Жакуп. – А ну подай сумку.

И он выложил на стол целую связку денег:

– Две тысячи. Разделим поровну. На четверых.

И опять Мишель был первым. Схватив пятисотрублевую пачку, он сорвал с нее бумажный поясok упаковки и принялся считать купюры:

– Денежки счет любят. Доверяй да проверяй.

Бескемпир сунул в карман, не считая. Оставшиеся две пачки Жакуп вручил жене. Потом бросил на стол еще пачку денег:

– Тысяча. Аванс. Разделим на четыре части.

Мишель опять устремился вперед, но Жакуп шлепнул его по рукам:

– погоди!

Двести пятьдесят он отдал Бескемпир, пятьсот – жене. Остальные предложил Бекету:

– Тебе – деньги, мне – автограф.

Бекет на красной десятке написал расписку.

– А я? – Мишель был недоволен, что его обделили. – Мне что, по-вашему, не надо?

– Перебьешься. Ни детей, ни жены...

– Ну и что? У меня, по-вашему, что – потребностей нет? – у Мишеля еще больше испортилось настроение.

– Подай-ка рюкзак, – попросил Жакуп Лесю, и по его лицу скользнула тень смущения. – А то как бы этот тарантул с потребностями нас не съел.

И вытащил из мешка черный, невероятно широкий костюм, черный же в горошину галстук, туфли на высоченной платформе и шестидесятого, не меньше, размера женские рейтузы.

– С тебя должок. Семьдесят семь копеек, – потребовал Жакуп.

Мишель по этикетке изучил цену каждой вещи, долго ковырялся в кошелке, выцарапал оттуда семь копеек:

– А семьдесят мне оставишь. Как сувенир.

Он долго любовался костюмом, мял ткань, испытывал ее на прочность, щелкая пальцами по подошве туфель. Потом начал приготовления к тому, чтобы сбросить с себя старый хлам.

– Только ты сначала трусы надень, потом костюм, а не наоборот, – напомнил ему Бескемпир.

– А тебя понос прохватит, если ты не скажешь какую-нибудь гадость. Вот сдохнешь и будешь в аду, как злопыхатель, раскаленную сковородку лизать.

– Ну, я не претендую на путевку в рай для праведников.

Мужики выпили еще по глоточку из деревянной бутылки. Пока они утоляли свою бесовскую жажду, Мишель успел переодеться во всё новое, вышел из-за нар. И теперь они с удивлением глядели на приземистого толстячка, который смахивал на кругленького черного медведя с белой грудкой.

Жакупа чуть не схватил родимчик от смеха:

– Да это же... это же... ни дать ни взять – пиндюк.

В приступе хохота он спутал пингвина с индюком, но вновь объявившийся гибрид – «пиндюк» – ничем не отличался от Мишеля. И Бескемпир тут же прохватило стихами:

Ни кожи, ни рожи –

Ни роду, ни племени...

Нехватка, быть может,

Сказалась во времени?

Отец твой куда-то, как видно, спешил –
 Сыночка родил, людей насмешил!
 Ты вдвое короче,
 Ты толще вдвойне.
 И, как нарочно,
 В извечной войне
 Задок умный твой
 С твоей головой.
 Но в этом костюме ты неотразим
 Среди самых немыслимых образин!..

В дверь кто-то торкался, кому-то еще не терпелось посмотреть на Мишеля. Корчась от смеха, Жакуп открыл дверь. В дом с визгом вломился пес Керауыз¹, давая понять, что он заждался своего ужина. Поскольку за скотиной дважды на дню должен был присматривать Мишель, он, как был одет с игопочки, так и направился с собачьей миской во двор.

7

Железная бочка с раскаленными боками была похожа на красного бегемота, что лежит у дверей и не пускает в дом посторонний холод. Едкий запах железной окалины мешался с тяжелой сыростью, что просачивалась сквозь дверные щели, и в низенькой хатенке всю зиму стоял затхлый, спертый воздух. Но жизнь шла своим чередом, и ночью на супружеском этаже нар начиналась семейная жизнь: слышался шепот, раздавалось бурчанье, временами там всхлипывали и даже приглушенно плакали, отчего бурчанье в ответ становилось угрюмей и злей. Жизнь второго этажа была несладкой. Не сказать, что это благотворно влияло на обитателей нижнего этажа. Бекет никак не мог уснуть. И потому, что отвык от спального мешка, и потому, что чувствовал неловкость, помимо воли слушая шепот и возню над собой. Бока затекли, но он не смел повернуться, стараясь лежать без движения, чтоб не мешать тем, вверху. Ближе к полуночи жерди семейного этажа заскрипели от перегрузок, оттуда посыпалась сухая хвоя от пихтовой подстилки. Храпевший как пожарная лошадь Мишель начал громко чихать и с ошалевшим видом сел в темноте на постели.

– Вот божье наказание! Теперь грызть будут до утра, – пыталась свалить на клопов ночное беспокойство Леся.

– Их тут целые полчища, – поддержал ее Жакуп.

– Межлунье, – неопределенно откликнулся Бескемпир, влиянием луны объясняя то ли злость клопов, то ли иные события. – Наверно, погода испортится.

– При чем тут межлунье? – возмутился Мишель. – Я спать хочу.

– Хочешь, так спи. А кое-кому не до сна. И потом, ты так нажрался на ночь, что теперь тебя замучают кошмары.

Нет, тут не уснешь. Бекет схватил спальный мешок и вышел на улицу. С межлуньем Бескемпир наврал. Ущербный месяц, как острие старого серпа, возвышался над низким пригорком. Мутное небо, сырость весенней ночи. А вершины деревьев подернуты инеем и как алмаз чисты.

Бекет разрыл в стогу лаз и нырнул в него по пояс. Сухое сено благоухало гвоздикой, и он с наслаждением чихнул.

¹ Мухортая пасть.

В тишине было слышно, как плачет кедровая ветвь, роняя на землю капли талого снега. Над ухом чуть слышный сквознячок что-то нашептывал сухой осоке, и она тоже шепотом покорно изливала ему свою тоску. Завыл волк, бросая в дрожь и нагоняя оторопь. Кто-то вскочил на стог.

– А ну – марш отсюда!

Кобель Керауыз, разогнавшийся было к Бекету с изливанием своих собачьих чувств, посидел немного, опечаленный непониманием родственной, с его кобелиной точки зрения, души и, не дождавшись ответного порыва, ушел восвояси. Вдали бахнул выстрел дуплетом. В ауле табунщика? На стог снова вскочили.

– Кому я сказал – марш!

– Начинается, – послышался ворчливый голос Бескемпир. – Ему одному нужен целый стог.

Волоча единственную шубу, которая не сходила с плеч каждого, кто ночью выходил во двор, рядом примачивался Бескемпир. Он поднял дустволку и стал целиться в щербатую подкову месяца.

– Не дури! – сказал Бекет.

– О-о, да ты вернулся праведником! И то слава Богу.

Бекет промолчал. Бескемпир тоже затих. Оба слушали хрумканье лошадей, евших сено. Мерно падали капли с кедровой ветви, тоскливо шепталась осока с ветерком. У одного из коней оказался лишний зуб, он скрежетал оглушительно, будто хотел проесть макушку этим двум, в стогу.

– Почему не выбили? – Бекет прикрыл уши капюшоном.

– Надо было вовремя, до трех лет. Теперь опасно, скулы разворотись.

– Почему у тебя не вырос этот зуб? Тебе зуб мудрости сгодился бы...

– Может, не будем, а?

Бескемпир вытащил две сигареты, одну сунул в рот Бекету. Зажег спичку. Поднес ее к носу Бекету:

– Тоже хорошо. Каким ты был, таким остался.

– Тебе заплатить, чтоб заткнулся?

– Ладно. Не буду возбуждать твою мигрень.

А что ты злишься, одернул он сам себя. Тебя сюда никто не гнал... Да, с этими людьми ты много лет подряд делил хлеб и соль, и всё здесь для тебя было полно смысла. Что же ты теперь раздражаешься? Тебя коробят все эти шутки? Но почему? Диалектика жизни, ничего не поделаешь. Бывало, тоскуешь по друзьям, по родным, рвешься к ним всей душой. И вот – дорвешься, радость грудь распирает. День, два. А потом? Опять тоска, раздражение. Будто сам себя обокрал. Вспомни, как ты скучал в Алма-Ате по никчемным стишкам Бескемпир, как хотел их снова услышать. Что ж теперь он тебе неприятен?

Опять завыл волк, будя оторопь. Видно, сука ему отозвалась, потому что на этот раз вой его был умоляющим, призывным. Даже волку одному немогуту, даже серому нужна спутница. По всхлипывающей мартовской тайге гуляло весеннее томление, будя неясные желанья и тревогу. Будто дряхлый кобель, твякнул выстрел берданки на чабанском зимовье. И, откликаясь на него, грохнул в небо из дустволки Бескемпир. С вершин елей посыпался иней, и казалось, иней посыпался с месяца. И словно монотонный отзвук заунывной песни, эхо пошло бродить по распадкам тайги и где-то на вершинах гор истаяло ночной лунной грустью.

– Жаль...

– Чего?

– Волку помешал. Он только снюхался с волчицей. Что, думал, на займку нападет?

– Он что – сдурел? Зверья полно, чего ж он полезет в загон?

– Тогда сдурел ты. Чего палишь среди ночи?

– А старик внизу? У него же бессонница. Это мы с ним ведем беседу. С вечера. А потом на рассвете. – Бескемпир вытащил пустую гильзу, продул ствол. – Знаешь ли ты, человеке, что такое одиночество?

Бескемпир погладил кобеля по голове, тот снова вскочил на стог:

– Что, и тебе нужна живая душа? Ну, иди сюда, иди!..

Керауыз сунул зад под шубенку, сел, поджав лапы, затаился. Бекет долго смотрел на обломок луны, отразившийся в глазах собаки. Хоть и говорят, мир необъятен, а смотри-ка, всё небо вместе с лунной уместилось в собачьих глазах... Луна молчала, ночь притихла, и два джигита с одиноким псом тоже молчали, карауля ночь с ее тайнами и печалью.

Просторная степь – колыбель для ребенка,

А вырастешь, и ненасытным глазам

Земля будет тесной, вселенная тесной,

Но станет желанной простая избенка.

– Твои стихи?

– Куда мне! Абай...

– Да ну? А я думал – твои. Ты ведь пишешь стихи?

– Что толку... Всё рядом да около, и все невпопад:

Мятые и клятые,

Снайперы треклятые!

Рифмами пустыми,

Стихами холостыми

Нам суждено стрелять

И в пустоту попадать...

Бескемпир тяжело вздохнул:

– Ну что ж, вручаю тебя до рассвета самому Господу Богу. Пока.

Бескемпир как лежал, раскинув ноги, так и скатился со стога. Шаги проскрипели к дому. Хлопнула дверь. Всё, тишина. И Керауыз ушел. Даже лохматые сосны в опушке инея нахохлились, ёжась от холода. Серп луны туманился, и казалось, что небо в том месте покрыто желтой паутиной. Звезды, то появляясь, то исчезая в этой дымке, устало моргали, борясь со сном. Вдруг налетевший порыв ветра дал понять, что погода хочет испортиться. В духоте избушки быть не хотелось, а тут, оставшись в одиночестве, почувствовал тревогу: как бы не задубеть на морозе? Как там говаривал Сигат? Раззява всё одно – упустит счастье, и ослу, как ни держи его в холе, ахалтекинцем не стать.

Вспомнилось детство, когда можно было валяться под одеялом, пока бока не отлежишь. Отец вставал каждый день в одно и то же время, тщательно брился, скрупулезно одевался, придирчиво разглядывал себя в зеркало и в строго определенный час уходил на работу. После чего оставался неубранный стол и стойкий запах одеколona, от которого можно было задохнуться. Иногда он подходил к не проснувшемуся еще Бекету, подсовывал ему под нос большущий красный апорт. Одеколон перехватывал дыхание, от запаха яблока появлялась легкость,

открывалось как бы второе дыхание, и отчего-то думалось о просторе, о свежем ветре и свежем кобыльем молоке, оно у казаха синоним чистоты и здоровья – это в крови с младенческих ногтей.

Сено пахло гвоздикой, и запах был как отзвук, как дальнейшее эхо аромата тех яблок из детства.

Отец возлагал на Бекета большие надежды. Ему хотелось, чтоб из этого щенка вышло что-то путное, он баловал его, как мог. У Бекета не было, увы, способностей к стихам, как у Бескемпера, но уже в очень ранние годы он много кое-чего знал, чего не дано было знать его сверстникам. Например, чем отличается «Москвич» от «Победы», а «Победа» от «ЗИМа», а «ЗИМ» от «Волги», потому что у отца в разное время все эти марки машин побывали в служебном пользовании. Пицунда, Сочи, Ялта, Паланга, Золотые пески – эти названия были естественны для него и привычны, отец брал его с собой в отпуск. Он своевременно узнал, когда девушка готова стать женщиной, а юноша готов помочь ей в этом, – мать читала своим долгом просветить сына на этот счет. Ладно, это родители, с них взятки гладки – чему смогли, тому и научили. А сам он что сделал для себя? В учебе он себя не утруждал, пристрастий здесь особых не обнаружил – учился с прохладцей, без понуканий, правда, но и без усидчивого энтузиазма. Увлекался спортом, стал даже чемпионом среди юниоров по классической борьбе, но относился к этому просто как к необходимости поддерживать форму – не более того. Увлекался рисованием, резьбой по дереву, был участником смотров и конкурсов, завоевывал дипломы, премии, грамоты. И кстати, до сих пор не без удовольствия отдается этой страсти, но делом жизни ее не считает. Должно же у человека быть хобби!

Школу кончил с золотой медалью, но в институт поступать не стал. Болтался до армии не у дел. В армию пошел с удовольствием. Служил в воздушно-десантных войсках, и здесь немало преуспел. Жаль, что служить пришлось всего три года. Мало. Успел лишь втянуться в солдатское бытие, войти во вкус, но – демобилизация и снова заточение в одеколонный дух. Ну до чего же он ему осточертел! Он и сейчас не любит стричься: стоит зайти в парикмахерскую на пять минут, и его весь день преследует проклятый парфюмерный запах, будто мыло пожевал и не выплюнул... «Что – отец до сих пор благоухает одеколоном?» Вопрос Сигата был как пощечина. Но бог с ним, с тем вопросом, куда страшнее слова старика Жанжигита: «Лошадок всех до единой пострелял!» Надо было видеть глаза старика, слышать боль в его голосе, она не выветрилась за полвека, не ушла в забвение. Отец нес не только запах одеколону. А может, одеколоном он забивал другие запахи, которые он нес как проклятье, через всю свою жизнь, которые были неуничтожимы: запах порохового дыма и крови? Но это открылось Бекету сейчас, а всё детство, вся юность прошли в парфюмерной духоте замкнутого, затхлого мирка, в котором жить было всё больше невмочь, из которого так хотелось сбежать! Но куда?.. А вот сюда – в эту дыру из дыр, в алтайскую глухомань, куда нормального человека калачом не заманишь. Семь лет здесь отрубил. Правда, за эти семь лет залатал кой-какие прорехи, до которых раньше не доходили ни руки, ни сердце. Окончил институт заочно, получил диплом. Но главное – душа получила успокоение. Воздух свободы, которым он дышал, жизнь без опеки и без понуканий, работа, которая, может, и не в такую уж радость, но ведь и не из-под палки!.. Ему и сейчас уготовано было уютное,

теплое место в минлесхозе – авторитет отца тут же сработал безотказно. Так нет же, бросил всё и приехал сюда. Зачем? Что искал? Неужто этих бескемпиров, таскабаков и пиндюков?..

Он был уверен: мечты – пустые выдумки бездельников. Ему не нужен был журавль в небе, он хотел крепко держать свою синицу в своей бестрепетной руке. Он не испытывал особых восторгов, когда человек полетел в космос. Там-то что мы забыли? Даже если ему в один прекрасный день объявят, что солнце должно погаснуть, земля должна опустеть, а дураки сняться с насиженных мест и начать массовый перелет на другие планеты, он лишь досадливо поморщится этой несерьезной суете. С прожектёрами ему было не по пути. Надо твердо стоять ногами на земле и делать дело, а не заниматься пустой трепотней. Лишь одно его озадачивало: вот они рядом с ним, такие же реалисты и практики, как и он, и жизнь им предоставила равные шансы, но отчего столь разительно неодинакова отдача каждого из них, так непохожи результаты? Эта лачуга в безлюдной глуши хоть и стала ему вместо дома родного, но душе его нет покоя и здесь. Он дивился Жакупу, Мишелю и Бескемпиру. Каждый год, сорвав свой куш, они уходили отсюда, чтобы сюда не возвращаться. Но – возвращались, как возвращается зверь, тоскующий по солонцу. Теперь к ним прибавилось еще одно существо с небесно-синими глазами. В синеве ее глаз он увидел отсвет того огонька, который трепетал там со дня рождения, он должен был вспыхнуть с необычной силой, чтобы дарить людям радость и тепло, но ведь не вспыхнул, погас. В сторону Жакупа она дышит ровно, будто прожила с ним целый век, и эта связь стала давно ненужной и постылой. Положим, что с Мишелем ясно: ему бы лишь мощну набить деньгами, он за десятку удавится, там один повелитель, один принцип – рубль. Но что за нужда сюда гонит женщину, заставляет ее терпеть неудобства и унижения? С Жакупом тоже всё более или менее ясно: ему всегда туго, и хотя он никого не обсчитывает, хотя он находит работу всем бедолагам, и всё-таки в его взаимоотношениях с людьми своя корысть и свой расчет. Нет, коварным он не был, а вот жестоким от природы был. Набросился же он на Бекета с ножом. Убить человека – и ради чего? Неужто можно получить от этого хоть какую-то выгоду? Неужто кто-то, убив человека, вздохнет сам свободнее?..

Смерти Бекет не боялся. Он еще в детстве поклялся себе, что если он однажды почувствует неизлечимую болезнь или никчемность собственной жизни, он пустит себе пулю в лоб... Но при чем тут это? В его душе была сумятица, потому что он начинал понимать, что люди с их судьбами, с их непохожестью не уместаются в схемы, которые он выносил в своей голове и считал их универсальными. Дажемышь, и та семенит по снегу своим, одной лишь ей ведомым путем. Неужто вся мышьяная возня людей сопряжена с пространством мироздания и между космосом и устремлениями человека существует невидимая, но необоримая связь?..

8

Он проснулся от грохота выстрела. Керауыз, потягиваясь, тоже вылез из-под стога. Выпавшая ночью снежная крупка лежала, как очищенное просо. Из окна избушки, пронизывая рассветный туман, сочился тусклый свет.

– А дальше отойти что – невтерпеж? Ты хоть бы за угол зашел...

Бригадир распекал Мишеля, который, подобрав штаны и шаркая валенками, надетыми на босу ногу, всё же был вынужден ретироваться за угол. А жажнул из ружья Бескемпир. Ружье за неимением петуха объявляет побудку.

Леся накрыла на стол, Бескемпир и Бекет еще собирались пить чай, а Мишель уже успел слопать оставшуюся с вечера холодную лапшу. Завтраком для бригадира, как всегда, служил ковшик холодной воды с медом, он и сегодня не нарушил традиции. Пока народ завтракал, он, дымя папиросой, дал задание каждому на день:

– На первую делянку поедут Мишель и Бескемпир. На двух полусанях. Мать, ты поедешь со мной. Бекет, ты останешься у казана: тесто раскатать, лапшу нарезать. Если успеешь, капканы проверь. Да, пойдешь далеко – собаку к дверям привяжи.

Мишель потянулся, с воем зевнул:

– Вот бы вымыться в баньке. Да поваляться денек. А кстати – сегодня, случаем, не воскресенье?

– Кому что, а шелудивому баня! – окоротил его бригадир. – Тебе воскресенье зачем? Намаз совершить, потолковать с Аллахом?

– Аллаха можно по кривой объехать: и помолиться, и выходной устроить, – встрял Бескемпир. – А вот лесхоз по кривой не объедешь.

Жакупу и это не понравилось:

– Что-то нас на философию потянуло? Вкалывать надо, а не говорить разговоры. Что – не нравится? Собирай шмутки и катись на все четыре стороны. Тут никто никому не обязан. И никто никому не дарил – ни верблюда, ни верблюжонка.

Кобель несколько раз ударил по дверям передними лапами: имейте, мол, совесть – я тоже есть хочу. Но Мишель умял и кобелиную долю.

– Ладно, – он первым вскочил с места. – Идти так идти, чего рассусоливать.

– Э, фураж прихвати, – напомнил ему Бескемпир. – А то придет время жевать, опять мычать будешь на всю округу, как та корова, которой вовремя не выдали навильник сена.

Мишель, спохватившись, вернулся с порога, сгреб мешок с продуктами и алюминиевый термос с баландой и, будто у него могли отнять всё это, спешно выскочил из дому.

– Пока не заметил лесхоз, надо быстрее очистить старую деляну, – предупредил бригадир Бескемпир. – Коли умеешь ртом работать, то и задницу держи в чистоте. Чтобы шито-крыто!..

Четверо, споря с рассветом, двинулись в тайгу, ведя в поводу четырех же мерин, пузатых и куцехвостых, покорно волокущих за собою сани. Бекет, взявши лом, пошел первым делом к землянке. Скособоченная упрямая дверь, которую не открывали вот уже полгода, будто чураясь хозяина, отказывалась отворяться. И он, вставив лом в щель косяка, приналег изо всей силы, разворотив и двери, и косяк. В лицо пахнуло запахом прелой лиственницы, сгнившей хвои. Обитые горбылем стены заплесневели от сырости. И от этого воздуха, от запустения Бекета передернуло. Весь инструментарий был на месте, на столе-треноге лежали рашпиль, шило, всевозможные ножи. На полках стояло всё его, Бекетово, деревянное воинство – Алдар-Косе, Мефистофель, лешие, оборотни, черти и чертенята. Они со страхом тарачились древесными глазками и, казалось, готовы были прыснуть по сторонам. Под пыльным карнизом, покрытые бахромой

паутины, стояли ветераны этой галереи – Жакуп, Бескемпир, Мишель и другие разошедшиеся старички. Книгу мемуаров Коненкова «Мой век» огрызли мыши. Из буржуйки в углу, не переставая, пиццала крыса. Он пнул печь ногой, чтобы крыса умолкла, железная труба с грохотом обвалилась, и Бекет, не вынеся грохота и запустения, выскочил вон.

Всё еще надеясь получить свой утренний завтрак, под ногами путался кобель. Бекет запер его в конюшне, костеря при этом Мишеля с его ненасытной утробой. Вошел в избу. Неубранный стол, немытая посуда. Черная миска Мишеля с его инициалами и профилем, похожим на зажавшегося римского императора, особенно мозолила глаза. Бекет взял топор и с размаху всадил его в деревянную жирную рожу. Остановиться он уже не мог и раскромсал заодно всю прочую именную посуду, швырнул ее в печь. Рука зудилась, но больше нечего было расколошматить. Он даже обрадовался, что теперь посуду мыть не надо. Быстро оделся, вышел, плотно прикрыл за собой двери. Под руки попался кусок угля. Бекет в три-четыре штриха нарисовал на двери портрет Жакупа, под ним – скрещенные кости, как на трансформаторной будке. И надпись: «Осторожно! Опасно для жизни».

Продолжение следует.

